

Джованни Боккаччо

Декамерон



Джованни Боккаччо
Декамерон

«Public Domain»

1353

Боккаччо Д.

Декамерон / Д. Боккаччо — «Public Domain», 1353

ISBN 5-17-016024-0

Великого итальянского писателя Джованни Боккаччо можно по праву считать одним из основоположников современной художественной прозы всех направлений и жанров. Его знаменитый роман «Декамерон», написанный и 1353 году, стал истинной вехой на бесконечном пути человечества к самому себе – иногда ироничному, немного романтическому, часто циничному и всегда грешному, но уникальному в каждой своей личности. Книги, подобные «Декамерону» Джованни Боккаччо, в мире появляются сравнительно редко – последний раз это случилось в 1353 году. Трудно поверить, но актуальность проблем, затронутых автором, за истекший период совершенно не утратила своей значимости: люди по-прежнему похаживают налево в поисках большой и чистой любви, совершают необдуманные поступки и вообще ведут нездоровый образ жизни, а самое главное – любят рассказывать, слушать и читать обо всем этом поучительные истории. В душе многие, конечно, предпочли бы и сами в них поучавствовать – что делать, такова великая сила искусства. А может, все дело просто в южном климате и таланте рассказчика, так притягательно изобразившем яркие, самобытные, грешные и страстные портреты своих современников...

ISBN 5-17-016024-0

© Боккаччо Д., 1353
© Public Domain, 1353

Содержание

«Декамерон»: великая книга о большой любви	5
Декамерон	15
ВВЕДЕНИЕ	16
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ	18
Новелла первая	27
Новелла вторая	33
Новелла третья	36
Новелла четвертая	38
Новелла пятая	40
Новелла шестая	42
Новелла седьмая	44
Новелла восьмая	47
Новелла девятая	49
Новелла десятая	50
ДЕНЬ ВТОРОЙ	54
Новелла первая	55
Новелла вторая	58
Новелла третья	61
Новелла четвертая	65
Новелла пятая	68
Новелла шестая	74
Новелла седьмая	81
Новелла восьмая	91
Новелла девятая	99
Новелла десятая	105
Конец ознакомительного фрагмента.	109

Джованни Боккаччо

Декамерон

«Декамерон»: великая книга о большой любви

*...и поймете, сколь святы, могучи
и каким благом исполнены силы любви,
которую многие осуждают и поносят
крайне несправедливо, сами не зная, что говорят.*

Джованни Боккаччо. «Декамерон»

История зачастую бывает несправедлива. За «Декамероном» прочно закрепилась репутация неприличной книги. Но справедливо ли это? Эротика в «Декамероне» присутствует, однако она не идет ни в какое сравнение с грандиозными эротическими метафорами предшествовавших «Декамерону» средневековых комических поэтов. Между тем гораздо более рискованные сонеты Рустико ди Филиппо и Чекко Анджольери современников Боккаччо нисколько не шокировали. Не смущали их и сексуальные откровенности некоторых новелл благонаравнейшего Франко Саккетти, именно по причине этой откровенности на русский язык пока что не переведенные. А вот «Декамерон» возмущал даже первых читателей. Боккаччо приходилось оправдываться. В «Заключении автора» к «Декамерону» он писал: «Может быть, иные из вас скажут, что, сочиняя эти новеллы, я допустил слишком большую свободу, например, заставив женщин иногда рассказывать и очень часто выслушивать вещи, которые честным женщинам неприлично ни рассказывать, ни выслушивать. Это я отрицаю, ибо нет столь неприличного рассказа, который, если передать его в подходящих выражениях, не был бы под стать всякому; и мне кажется, я исполнил это как следует». Тут обо всем сказано правильно. Самомнением Боккаччо не отличался. «Декамерон» – одна из самых великих и самых поэтичных книг в мировой литературе. В итальянской культуре Боккаччо стоит подле Петрарки и Данте. Потомки называли их «тремя флорентийскими венцами» и не без некоторого основания считали время, в которое они творили, золотым веком итальянской словесности.

Боккаччо часто и много писал о любви. Однако не о той, которая привела обожаемого им Данте к лицезнению Бога и даже не о той, сладостными муками которой упивался его добрый приятель Петрарка. Замечательный историк итальянской литературы Франческо де Санктис как-то сказал: «Открывая „Декамерон“ впервые, едва прочитав первую новеллу, пораженный как громом с ясного неба, восклицаешь вместе с Петраркой: „Как я попал сюда и когда?“ Это уже не эволюционное изменение, а катастрофа, революция...»

Революция, у самого начала которой стоит «Декамерон», вовсе не отменила Средние века. Культура Возрождения долгое время не просто соседствовала с культурой средневековой, а тесно переплеталась с ней. Великая книга Боккаччо построена из средневекового материала, и населяют ее по преимуществу средневековые люди. Одна из самых «неприличных» новелл «Декамерона» (день третий, новелла десятая) не более, нежели изящно реализованная метафора, которая была в ходу и у современников Боккаччо, и у его далеких предшественников. Но средневековые фабулы в «Декамероне» радикально переосмыслены. Средневековая культура более программно аскетична и ориентирована на потусторонние, трансцендентные ценности. Величайший поэт Средневековья Данте Алигьери решал мучающие человечество проблемы, путешествуя по загробному миру. Ради открытия путей человека к Богу Средние века готовы были жертвовать земной природой человека и учили его не столько жить, сколько умирать.

Первый из рассказчиков общества «Декамерона» начинает свою новеллу словами: «Милые дамы! За какое бы дело ни принимался человек, ему предстоит начинать его во чудесное и святое имя Того, кто был Создателем всего сущего». Однако сам Боккаччо открыл «Декамерон» словами: «Umana cosa и...», «Человеку свойственно...» Петрарка и Боккаччо стали первыми гуманистами эпохи Возрождения. Гуманисты, как правило, не были безбожниками, но средневековый аскетизм ими отвергался. Они учили человека сознать свое величие и наслаждаться красотой созданного Богом земного мира. Суть духовной революции, осуществленной Возрождением, состояла не в реабилитации плоти, а, как говорил Бенедетто Кроче, в переходе от мысли трансцендентной к мысли имманентной. Но для того чтобы осуществить этот культурообразующий переход, требовалось время.

Подобно «Божественной комедии» Данте, «Декамерон» был создан на середине жизненного пути его автора. Джованни Боккаччо любил давать своим произведениям эллинизированные заглавия. Вероятно, прав замечательный итальянский ученый Витторе Бранка, предположивший, что Боккаччо назвал свою главную книгу «Декамерон», вспомнив о «Гексамероне» св. Амвросия. В древнерусской литературе такие книги тоже существовали. Их называли «Шестодневными». Чаще всего они бывали полемичны. Рассказывалось в них о сотворении Богом мира за шесть дней. «Декамерон» тоже книга о сотворении мира. Но творится мир в «Декамероне» не Богом, а человеческим обществом, – правда, не за шесть, а за десять дней. Полемика в «Декамероне» тоже ведется, но направлена она не против религии и попов, как в стародавние времена хотелось думать некоторым советским критикам, а главным образом против господствующих во времена Боккаччо представлений о человеке, его природе, его правах и обязанностях. Но больше всего в «Декамероне» Боккаччо спорит с тем, кто обвинял его книгу в непристойности.

«Декамерон» иногда называли обрамленной книгой. Это не совсем точно. Да, в «Декамероне» имеется «Введение» и «Заключение автора». Книга обрамлена авторским художественным сознанием. Но этим, по сути дела, роль так называемой рамы и ограничивается. Новеллы в «Декамероне» рассказывают десять каждодневно меняющихся рассказчиков. Автор в их рассказы не вмешивается, но и от рассказанного ими не отрекается. Некоторые из рассказчиков носят имена героев его прежних книг: Филоколо, Филострато, Фьямметта. Этим подчеркивается единомыслие автора и рассказчиков. Новелл в «Декамероне» сто. К ним добавлена притча, рассказанная уже самим автором, дабы пристыдить его ханжествующих недоброжелателей.

Мощный толчок к созданию «Декамерона» дала чума. Она пришла с Востока. В 1348 году чума ворвалась во Флоренцию, а затем прокатилась по всей Европе, захлестнув даже островную Англию. В Средние века «черная смерть» была явлением обычным, однако эпидемия 1348 года поразила даже ко всему привыкших итальянских и французских летописцев. Это было колоссальное общественное бедствие. Во Флоренции «черная смерть» унесла две трети населения. У Боккаччо умерли отец и дочь, у Петрарки – Лаура. В чуме видели проявление Божьего гнева и снова, как на рубеже X и XI веков, обезумевшие от страха люди ждали конца света. Всех охватила паника. Даже Петрарка призывал в это время к религиозному покаянию.

Боккаччо, несмотря на свойственную ему эмоциональность и внутреннюю неуравновешенность, оказался гораздо спокойнее. Панике он не поддавался, хотя в 1348 году находился во Флоренции и видел «черную смерть» собственными глазами. Об этом прямо сказано в «Декамероне», и это хорошо чувствуется в реалистичности боккаччиевского описания зачумленного города. Оно предшествует новеллам первого дня.

До Боккаччо чуму описывали Фукидид, Лукреций, Тит Ливий, Овидий, Сенека-трагик, Лукан, Макробий и Павел Диакон в «Истории лангобардов». Со многими из этих описаний Боккаччо был знаком. Они оказали на него определенное влияние. Прочитанное не просто отложилось в торжественной приподнятости первых страниц «Декамерона», но и позволило Боккаччо по-новому увидеть современную ему общественную жизнь. Риторика в «Декаме-

роне» довольно много, и роль у нее самая разная. В данном случае риторика помогла Боккаччо преодолеть внутреннее смятение перед лицом огромного и еще не отошедшего в прошлое общенародного бедствия, а также дала ему ту емкую поэтическую форму, которая при всей ее литературной условности позволила произвести художественный анализ общественного состояния зачумленной Флоренции как естественноисторического явления, вне господствующих в XIV веке идеологических схем, – спокойно, беспристрастно, правдиво, с почти научной строгостью и объективностью, составляющей одну из главных особенностей творческого метода этого произведения. Однако объективность автора «Декамерона» вовсе не бесстрастие ученого. Боккаччо изобразил флорентийскую чуму 1348 года не как историк, а как первый великий прозаик Нового времени. Чума – это не только пролог к рассказам «Декамерона», но и в известном смысле их эстетическое обоснование. Художественные связи здесь настолько бросаются в глаза, что многие историки и теоретики литературы, ослепленные столь, казалось бы, однозначной очевидностью, а также лукаво провоцируемые Боккаччо, смело именovali «Декамерон» пиром во время чумы. На шуточные провокации Боккаччо поддался не только Виктор Шкловский, но даже М.М. Бахтин. «Чума, обрамляющая „Декамерон“, – утверждал он, – должна создать искомые условия для откровенности и неофициальности речи и образов... Кроме того, чума, как сгущенный образ смерти, – необходимый ингредиент всей системы образов „Декамерона“, где обновляющий материально-телесный низ играет ведущую роль. „Декамерон“ – итальянское завершение карнавального, гротескного реализма, но в его более бедных и мелких формах».

Последнее уточнение примечательно. Оно разрушает концепцию. Художественные – языковые и стилевые – формы «Декамерона» не бедные и не мелкие. В выстроенный Бахтиным карнавальный ряд они не помещаются. Вряд ли всегда так уж необходимо приписывать материально-телесному низу ведущую роль в том великом обновлении европейской культуры, с которым связана замечательная книга Джованни Боккаччо.

О пирах во время чумы в прологе к «Декамерону» рассказывается. Но даже в прологе они не главное. Главное в нем художественный и вместе с тем почти что социологический анализ средневекового общества, оказавшегося во власти чумы. Описывая результаты триумфа «черной смерти», автор пролога пишет: «При таком удрученном и бедственном состоянии нашего города почтенный авторитет как Божеских, так и человеческих законов почти упал и исчез, потому что их служители и исполнители, как и другие, либо умерли, либо хворали, либо у них осталось так мало служилого люда, что они не могли отправлять никакой обязанности; почему всякому позволено было делать все, что заблагорассудится».

Однако это вовсе не означало торжества свободы. Чума развязала в средневековой Флоренции не пиршественные вольности карнавала, а разнузданность самой дикой анархии. Описывая чумные вакханалии, автор не упускает случая отметить, что их пьяный разгул нередко заканчивается попранием права частной собственности и установлением в зачумленном городе своего рода примитивного коммунизма. Казалось бы, анархия поломала все. Нарисованная в прологе картина безрадостна и бесперспективна. Выхода, по-видимому, не было.

Но именно социальная безвыходность вызывает к жизни общество «Декамерона». Первый шаг к нему был сделан в церкви. В книге Боккаччо об этом сказано так: «...во вторник утром в досточтимом храме Санта Мария Новелла, когда там почти никого не было, семь молодых дам, одетых, как было прилично по временам, в печальные одежды, простояв божественную службу, сошлись вместе; все они были связаны друг с другом дружбой или соседством, либо родством; ни одна не перешла двадцативосьмилетнего возраста, и ни одной не было меньше восемнадцати лет; все разумные и родовитые, красивые, добрых нравов и сдержанно-приветливые» (I, Вступление).

Через некоторое время в той же церкви Санта Мария Новелла к семи дамам присоединились «трое молодых людей, из которых самому юному было, однако, не менее двадцати пяти

лет и в которых ни бедствия времени, ни утраты друзей и родных, ни боязнь за самих себя не только не погасили, но и не охладили любовного пламени. Из них одного звали Памфило, второго – Филострато, третьего – Дионео; все они были веселые и образованные люди, а теперь искали, как высшего утешения в такой общей смуте, повидать своих дам, которые, случайно, нашлись в числе упомянутых семи, тогда как из остальных иные оказались в родстве с некоторыми из юношей».

Собравшаяся в церкви Санта Мария Новелла компания необычна и привилегированна. Ее привилегию составляет не социальное или имущественное положение, а не поправная чумой человечность. Террор, охвативший средневековое флорентийское общество, оказался бессильным задушить в зашедших в церковь молодых людях чувство любви и родственные привязанности. Предположить, что «добронравные» дамы и «образованные» молодые люди могли бы быть вовлечены в вакханалии так называемых пиров во время чумы просто-напросто невозможно. Этого не допускает характеризующая их лексика.

Церковь, в которой собралась молодая и в высшей мере добропорядочная компания, тоже не совсем обычная. Несмотря на свирепствующую вокруг чуму, в церкви царит благодатный покой, и ничто не указывает, что кто-нибудь или что-нибудь могло бы помешать молодым дамам благочинно отстоять божественную службу. На изображенную в прологе церковь Санта Мария Новелла распространяются привилегии зарождающегося в ней общества «Декамерона». Она оказывается как бы вне зачумленной Флоренции и располагается на том идеальном пространстве, на котором протекает жизнь этого привилегированного общества. Предлагая своим приятельницам и приятелям покинуть Флоренцию и отправиться в загородные поместья, «каких у каждой из нас множество», старшая из дам рисует картину прекрасной и вместе с тем – что для нового сознания рассказчицы весьма характерно – окультуренной природы: «Там слышно пение птичек, виднеются зеленеющие холмы и долины, поля, на которых жатва волнуется, что море, тысячи пород деревьев и небо, более открытое, которое хотя и гневается на нас, тем не менее не скрывает от нас своей вечной красоты».

Последние слова Пампинеи заставляют нас думать, что вечная краса неба (выражение почти что пушкинское) как-то плохо вяжется с Божьим гневом, который, обрушившись на Флоренцию, привел к общественной катастрофе. Тут возникает какое-то противоречие. Оно еще больше усиливается при сравнении загородной благодати, на лоно которой Пампинея приглашает своих товарок, с картиной, нарисованной автором пролога, повествующим о бедствиях, постигших сельское окружение охваченного эпидемией города. Похоже, Пампинея не знает, куда она зовет молодую компанию и на что ее обрекает. С точки зрения автора пролога, ее предложение по меньшей мере бессмысленно. Попытки спастись от чумы, покинув Флоренцию, не единожды предпринимались, но все они бывали заведомо обречены на неудачу: «... не заботясь ни о чем, кроме себя, множество мужчин и женщин покинули родной город, свои дома и жилища, родственников и имущества и направились за город, в чужие или свои поместья, как будто гнев Божий, каравший неправедных людей этой чумой, не взыщет их, где бы они ни были...» Если Бог действительно решил покарать человека, тому, разумеется, укрыться от Божьего гнева негде.

Однако Пампинея приглашает своих друзей отправиться в загородные имения вовсе не потому, что она считает их большими праведниками, чем всех прочих флорентийцев, а только оттого, что на взаимоотношения между человеческой жизнью и Богом она смотрит не совсем так, как смотрит на них во многом еще по-средневековому мыслящий автор пролога.

Глубинный, магистральный сюжет «Декамерона» составляет превращение молодой компании флорентийцев в принципиально новое, внутренне гармоничное, гуманистическое общество. Выйдя за пределы средневекового города, возглавляемая Пампинеей молодая компания не утративших природной человечности флорентийцев немедленно восстанавливает «почетный авторитет как божеских, так и человеческих законов» и именно поэтому создает общество,

обладающее не только четкой социальной иерархией, полностью разрушенной в зачумленной Флоренции, но и определенной формой государственного устройства. И вовсе не оттого, что молодые люди – убежденные государственники. В данном случае ими движет не политическая амбициозность, а то чувство меры, которое оказалось полностью утраченным в оставленной ими средневековой Флоренции, но которое станет в дальнейшем одной из существенных характеристик и художественной, и политической мысли европейского Возрождения.

Общество, созданное в «Декамероне», – это своего рода президентская республика, ибо управляется она ежедневно сменяющимися королями. Короли эти – особенные. После того как первой королевой общества «Декамерона» была единогласно избрана Пампиней, «Филомена, часто слышавшая в разговорах, как почетны листья лавра и сколько чести они доставляют достойно увенчанным ими, быстро подбежала к лавровому дереву и, сорвав несколько веток, сделала прекрасный, красивый венок и возложила его на Пампинею. С тех пор, пока держалось их общество, венок был для всякого другого знаком королевской власти и старшинства».

Незадолго до написания «Декамерона» в покинутом папами и пришедшем в полный упадок Риме произошло событие, имевшее огромное всеевропейское значение. К. Маркс занес его в свои «Хронологические выписки»: *«В апреле 1341 года Петрарка был коронован в Капитолии в Риме как король всех образованных людей и поэтов: в присутствии большой толпы народа сенатор республики увенчал его лавровым венком»*. Петрарка вошел в Капитолий в королевской мантии, которую ему специально для этого случая подарил со своего плеча король Роберт Анжуйский. Впервые в истории Европы поэту было сказано: «Ты царь...» С тех пор поэзия, литература, искусство надолго становятся в Европе силой, с которой вынуждены считаться даже самые кровавые самодержцы.

Филомена, венчая Пампинею на президентство лаврами, конечно же, помнила о капитолийском триумфе Петрарки. Общество «Декамерона» – не просто президентская республика: это республика поэтов, музыкантов и литераторов, хорошо разбирающихся как в средневековой, так и в античной литературе, великолепно владеющих словом и слагающих канцоны, в художественном отношении уступающие разве что стихам Данте и Петрарки. Прав человека республика «Декамерона» не ущемляет. Согласно ее конституции, «каждый может доставить себе удовольствие, какое ему более по нраву».

Жизнь общества «Декамерона» проходит на благоустроенных виллах и в благоуханных садах, в полном согласии с той окультуренной человеком природой, которую потом, когда в Европу опять вернется Феокрит, станут звать идиллической. Почти все новеллы «Декамерона» рассказываются под веселый аккомпанемент соловьиных трелей. Пампиней друзей своих не обманула. В начале третьего дня читаем: «Вид этого сада, прекрасное расположение его, растения и фонтан с исходящими из него ручейками – все это так понравилось всем дамам и трем юношам, что они принялись утверждать, что если бы можно было устроить рай на земле, они не знают, какой бы иной образ ему дать, как не форму этого сада...»

В дантовский «земной рай» Боккаччо верил, возможно, не слишком крепко. Но о рае на земле он все-таки мечтал.

Начиная с XV века исследователи и просто почитатели творчества Джованни Боккаччо упорно пытались установить, в каком именно месте были рассказаны записанные в «Декамероне» новеллы. Ни к какому определенному выводу они так и не пришли. И это более чем понятно. Географического местоположения декамероновская республика поэтов не имеет. «Декамерон», вероятно, можно было бы назвать первой европейской утопией, если бы не одно немаловажное обстоятельство. В отличие от всех прочих европейских социальных утопий общественный проект Пампинеи был блистательно осуществлен. Та идиллическая природа, в гармонии с которой живет общество рассказчиков «Декамерона», только потому так резко отличается от сельских окраин зачумленной Флоренции, что, выйдя за пределы города, Пампиней и ее жизнерадостные друзья переместились *не в пространстве, а во времени*. Они, так

сказать, приподнялись над средневековой Тосканой и попали в принципиально новую эру, в так называемую эпоху Возрождения, которая, конечно же, была идеальна, но которая вместе с тем оказалась исторически абсолютно реальной, ибо до сегодняшнего дня остаются жизненно реальными созданные ею величайшие духовные, художественные и культурные ценности.

О переходе веселой компании молодых флорентийцев, собравшихся в церкви Санта Мария Новелла, на принципиально новую временную, а главное, историко-культурную плоскость свидетельствует прежде всего религиозная мысль создаваемого ими общества. Общество «Декамерона», как и подобает всякому нормальному человеческому обществу, начинает свою жизнь с того, что вспоминает о Боге и определяет к нему свое отношение. Отношение человека к Богу было в ту пору главной проблемой времени. Приступая к рассказам «Декамерона», Памфило говорит: «Потому и я, на которого первого выпала очередь открыть наши беседы, хочу рассказать об одном из чудных Его начинаний, дабы, услышав о Нем, наша надежда на Него утвердилось, как на незыблемой почве, и Его имя восхвалено было во все наши дни».

Памфило, однако, относится к трансцендентному Богу совсем не так, как относился к Нему странствующий по загробному миру Данте. За, казалось бы, традиционно благочестивым зачином следует по-революционному новаторская и едва ли не лучшая в «Декамероне» новелла (I, 1), в которой появляется герой Возрождения, человек-артист, изображаемый, правда, чисто негативно. Это знаменитая новелла о мерзопакостном нотариусе Сан-Чапеллетто, клятвопреступнике, воре, убийце, шулере, содомите, который, однако, благодаря артистически построенной предсмертной исповеди оказался после смерти причисленным к лику святых. «Прозвали его и зовут San Ciappelletto, – говорит Памфило, – и утверждают, что Господь ради него много чудес проявил и еще ежедневно проявляет тем, кто с благоговением прибегает к нему».

Памфило выражается осторожно: «утверждают». Сам он свидетелем чудес не был. В его рассказе о том, как доверчиво принял «деревенский люд» сообщение благочестивого исповедника о святости отъявленного негодяя, проглядывает усмешка человека, интеллектуально и духовно стоящего выше суеверной деревенщины. Однако ни то ни другое, разумеется, ни в какой мере не свидетельствует о каком-либо протовольтерьянском скептицизме. Памфило не скептик. Однако в отличие от создателя «Божественной комедии» он не верит в возможность для человека при жизни перешагнуть порог посюстороннего мира, войти в мир трансцендентных абсолютов и, воочию узрев Бога, приобщиться к непреложным решениям его суда. Столь характерное для средневекового сознания желание заглянуть на «тот свет» в обществе «Декамерона» высмеивается – порой добродушно, а иногда почти пародийно. Тем не менее это никак не умаляет искренности веры рассказчиков в Бога. Меняется их понимание взаимоотношений между Богом и человеком, смысла человеческой жизни, а также сути и задач литературы, что, разумеется, существенно влияет на поэтику и методы новеллистического повествования. Сознвая принципиальную невозможность «проникнуть смертным оком в тайны Божественных помыслов», Памфило рассказывает новеллу о сэре Чапеллетто так, чтобы в ней, как он говорит, было все «ясно с точки зрения человеческого понимания». На смену средневековому аллегоризму приходит эстетический рационализм, способный обернуться если не агностицизмом, то, во всяком случае, сознательной установкой на реалистическую достоверность рассказа. Завершая свою историю о великом грешнике, Памфило говорит: «Я не отрицаю возможности, что он сподобился блаженства перед лицом Господа, потому что, хотя его жизнь и была преступной и порочной, он мог под конец принести такое покаяние, что, может быть, Господь смиловался над ним и принял его в Царствие Свое. Но для нас это тайна; рассуждая же о том, что нам видимо, я утверждаю, что ему скорее бы быть осужденным и в когтях дьявола, чем в раю».

Однако это свое утверждение Памфило не выдает за истину в последней инстанции, и его «может быть» не ставит под сомнение высшие, последние тайны. Все в руках Божьих.

Вот почему чудеса, творимые на могиле грешного нотариуса, или – как, видимо, склонен считать Памфило – то, что почитается чудесами невежественной бургундской чернью, вызывает у Памфило не скептическую усмешку, а на редкость благочестивые выводы. Счесть восхваление Бога, громко прозвучавшее в заключении первой же новеллы «Декамерона», хитрой уловкой, призванной усыпить бдительность церковных властей, значило бы ничего не понять ни в великой книге Джованни Боккаччо, ни в той эпохе, которую она блистательно начала.

Впрочем, Боккаччо, видимо, не слишком доверял нашей сообразительности, и потому проблема отношения общества «Декамерона» к Богу еще раз решается им в следующей новелле о несколько парадоксальном обращении в христианство еврея Авраама, человека умного и к тому же «большого знатока иудейского закона». Только после этого основная проблема времени представляется обществу исчерпанной. Приступая к третьей новелле «Декамерона», Филомена говорит: «...так как о Боге и об истине нашей веры уже было прекрасно говорено, и не покажется неприличным, если мы снизойдем теперь к человеческим событиям и действиям». Вслед за этим рассказывается новелла о том, как «еврей Мельхиседек рассказом о трех перстнях устранил большую опасность, уготованную ему Саладином».

В Средние века, да и в значительно более поздние времена, притча о тех кольцах считалась рассказом проблемно религиозным. Лессинг использовал ее для доказательства желательности веротерпимости. Ту же самую цель ставил, по-видимому, неизвестный нам автор средневекового «Новеллино». В обществе «Декамерона» вопрос о веротерпимости давным-давно разрешен, и даже антисемитизм ему неведом. Филомена рассказывает старую и хорошо всем известную притчу о трех кольцах вовсе не для того, чтобы доказать, будто заповеди Моисея ничем не хуже заповедей Магомета, а для выявления высокой гуманности ее главных героев. После того как Саладин увидел, как умно Мельхиседек избежал уготованной ему западни, он отказался от мысли учинить над евреем «насилие, прикрашенное неким видом разумности». Саладину хорошо известно, что ростовщик Мельхиседек «был скуп». Но гуманность по логике общества «Декамерона» возрождает в человеке его исконную человечность. «Еврей с готовностью услужил Саладину такой суммой, какая требовалась, а Саладин впоследствии возвратил ее сполна, да кроме того дал ему великие дары и всегда держал с ним дружбу».

Такое разрешение конфликта для книги Боккаччо в высшей мере характерно. В ней человеческий ум всегда побеждает глупость, косность и предрассудки. Но когда, как в третьей новелле, сталкиваются умные люди, торжествует еще и благородство (*cortesia*), и щедрость, широта души (*liberalita*) – две, с точки зрения Боккаччо, высшие добродетели, которыми он наделяет своих самых любимых героев.

Принято считать, что основы нового миропонимания общества «Декамерона» закладываются в трех первых новеллах. Это не совсем так: четвертая новелла первого дня тоже основополагающая и программная. В ней рассказывается: «Один монах, впад в грех, достойный тяжкой кары, искусно уличив своего аббата в таком же поступке, избегает наказания». Новелла эта, разумеется, эротическая. Боккаччо был первым европейским писателем, который широко и очень объективно изобразил огромную и естественную роль эроса в жизни нормального человека. Это было большим художественным открытием Нового времени и приуменьшать его было бы нелепым ханжеством.

И если в целом общество «Декамерона» не жалуется на монахов, то вместе с тем оно относится к ним гораздо терпимее и снисходительнее, нежели авторы средневековых фавлю или проповедники, связанные с городскими ересями. И это, в частности, потому, что представление о грехе против плоти претерпевает у Боккаччо радикальное изменение. Грехом писатель считает уже не плотский грех, а вынужденное целомудрие. Это, по мнению общества «Декамерона», одно из величайших зол, какое только может выпасть на долю человека. Поэтому, когда монаху или монахине удастся его избежать, общество «Декамерона» не усматривает в этом ничего зорного. В таких случаях рассказчики смеются, но в их веселом смехе звучит скорее сочув-

ствие к человеческой природе монаха, чем гневный укор или ригористическое негодование. Именно таков смех четвертой новеллы первого дня, в которой согрешивший монах избегает наказания, на деле доказав своему аббату, что ничто человеческое тому не чуждо. Аналогична и вторая новелла девятого дня.

В четвертой новелле первого дня говорится не о любви, но о «сексе». Впрочем, любви чисто платонической в «Декамероне», кажется, не бывает. О любви в обществе «Декамерона» говорят часто, и изображается она по-разному. Примечательна также программная для Боккаччо первая новелла пятого дня. В ней сказано, что у именитого жителя Кипра Аристиппа был сын, доставлявший ему большие огорчения. «Его настоящее имя было Галезо, но так как ни усилиями учителя, ни ласками и побоями отца, ни чьей-либо другой какой сноровкой невозможно было вбить ему в голову ни азбуки, ни нравов, и он отличался грубым и неблагозвучным голосом и манерами, более приличными скоту, чем человеку, то все звали его как бы на смех Чимоне, что на их языке значило то же, что у нас скотина». В конце концов Аристипп приказал сыну «отправиться в деревню и жить там с его рабочими». Но вот однажды Чимоне «увидел спавшую на зеленой поляне красавицу в столь прозрачной одежде, что она почти не скрывала ее белого тела. <...> Он с величайшим восхищением принялся смотреть на нее. И он почувствовал, что в его грубой душе, куда не входило до тех пор, несмотря на тысячи наставлений, никакое впечатление облагороженных ощущений, просыпается мысль, подсказывающая его грубому и материальному уму, что то – прекраснейшее создание, которое когда-либо видел смертный». Телесность обнаженной женщины Боккаччо намеренно подчеркивается. Однако прекрасное женское тело не вызывает у Чимоне похоти, а пробуждает в нем чувство, которое, видимо, должен испытывать всякий нормальный мужчина, созерцающий «Спящую Венеру» Джорджоне: Чимоне «внезапно стал из пахаря судьей красоты». Красота преображает Чимоне, который «...к величайшему изумлению всех, в короткое время не только обучился грамоте, но и стал наидостойнейшим среди философствующих. Затем, и все по причине любви, не только изменил свой грубый деревенский голос в изящный и приличный горожанину, но и стал знатоком пения и музыки, опытейшим и отважным в верховой езде и в военном деле, как в морском, так и в сухопутном».

Подлинная влюбленность изображается в обществе «Декамерона» как необыкновенно красивое чувство. Вот, к примеру, как рисуется любовь простого конюха к королеве. «...И хотя он жил без всякой надежды когда-либо понравиться ей, он все-таки гордился, что направил высоко свою мысль, и как человек, всецело горевший любовным пламенем, более чем кто-либо из его товарищей, с тщанием делал все, что, по его мнению, должно было понравиться королеве» (III, 2).

Эротика в рассказах общества «Декамерона» становится не только гуманистической, но и по-настоящему поэтичной. Примеры тому – новелла о Катерине и соловье (V, 4), в которой еще сохранена инерция народной песни, и новелла о Джилетте из Нарбонны (III, 9), вдохновившая Шекспира. Порой на долю эротики выпадает большая идейная нагрузка. В восьмой новелле второго дня приводится, например, любопытное рассуждение жены французского королевича, пытающейся соблазнить графа Анверского и доказывающей ему, что она имеет больше прав на прелюбодеяние, чем плебейка или крестьянка. Королевна из этой новеллы рассуждает как человек, для которого феодальная мораль сословного неравенства является чем-то само собой разумеющимся, незыблемым и естественным. Она глубоко убеждена, что «...перед лицом праведного судьи один и тот же поступок, смотря по разным качествам лица, не получит одинаковое наказание». Однако общество «Декамерона» судит уже совсем по-другому. Феодальные софизмы жены французского королевича не производят в новелле впечатления даже на графа Анверского и специально опровергаются в первой новелле третьего дня. «Есть... много и таких, – говорит Филострато, – которые вполне уверены, что лопата, и заступ, и грубая пища, и труд, и нужда лишают земледельцев всяких похотливых вожделений, делая грубыми их ум

и понятливость. Насколько все, так думающие, заблуждаются, это я и желаю разъяснить всем небольшой новеллой». А вслед за тем следует знаменитая новелла о Мазетто, эротика которой вопреки мнению некоторых современных исследователей должна показать не столько скотскую сущность тосканского крестьянина, сколько то, что перед голосом природы простая монахиня и королева совершенно равны.

Пройдут сутки, и в начале четвертого дня, когда по желанию меланхоличного Филострато в обществе «Декамерона» будут обсуждаться судьбы тех, «чья любовь имела несчастный исход», Фьямметта расскажет трагическую новеллу о Гисмонде и Гвискардо, в которой голос чувственной любви приобретет патетические интонации декларации прав земного человека. Обращаясь к своему отцу Танкреду, принцу Салернскому, собирающемуся убить ее худородного любовника, Гисмонда скажет: «...Взгляни немного на сущность вещей; ты увидишь, что у всех нас плоть от одного и того же плотского вещества, и все души созданы одним творцом с одинаковыми силами, одинаковыми свойствами, одинаковыми качествами. Лишь добродетель впервые различила нас, рождавшихся и рождающихся одинаковыми».

Почти все писавшие о первой новелле четвертого дня говорили о ее риторичности, неестественности, а иногда даже утверждали, будто огромный успех этой новеллы в литературе Возрождения объясняется главным образом тем, «что чернь лучше понимает риторику, чем поэзию» (Л. Руссо). Все это не совсем справедливо, хотя ораторская риторика в речи Гисмонды не только присутствует, но и играет важнейшую роль. Кажется, что в первой новелле четвертого дня от поэзии любовной страсти обособляется не просто риторика, а риторика социальная и в какой-то мере даже политическая. За спиной героини вдруг вырастает сам молодой Боккаччо. Поэтому содержание речи Гисмонды словно обособляется от ее характера, от обстоятельств времени и места новеллы и начинает жить самостоятельной жизнью. В «Декамероне» появляется публицистика. В новелле о Гисмонде и Гвискардо нова была не тема – о чувственной любви, ломающей феодальные преграды, рассказывалось еще в романе о Тристане и Изольде, – а именно ораторская логика ее обоснования, предвосхитившая риторику речей в парижском Конвенте.

Из всего этого, впрочем, отнюдь не следует, будто в «Декамероне» нет чисто эротических новелл, имеющих мало общего с подлинной любовью. Их, как правило, рассказывает Дионео в конце каждого дня. Но не только он. Рассказываются они, однако, не ради возбуждения эротических чувств. Примечательно, что в «Декамероне» содержится намек, что среди молодых людей и дам, образующих общество рассказчиков, имеются влюбленные, но любовь их нигде и никак не реализуется, хотя обстоятельства, в которых рассказываются новеллы, казалось бы, к этому располагают. Чисто эротические новеллы рассказываются в «Декамероне» главным образом для того, чтобы развеселить просвещенное общество и утвердить в нем жизнерадостное свободомыслие, способное противостоять хаосу и террору чумы, бушующей в средневековой Флоренции.

Замечательный, но, пожалуй, чересчур демократически настроенный историк итальянской литературы Франческо Де Санктис как-то сказал, что рассказчиками «Декамерона» «ставится только одна цель: приятно провести время». Это очень несправедливо. Ведь за две недели общество «Декамерона», приятно развлекаясь, проделало на самом деле колоссальную работу. Рассказывая веселые, а порой и трагические истории, оно сформировало принципиально новое миропонимание, создав язык и стиль не просто классической ренессансной новеллистики, а той исторически новой европейской культуры, которую мы теперь, понимая всю ее самоценность, или, как говорил Пушкин, самостояние, привыкли называть гуманистической.

В процессе этой созидательной и удивительно плодотворной работы изменилось само общество рассказчиков. Покидая Флоренцию, рассказчики «Декамерона» говорили о «черной смерти» со страхом. В начале девятого дня о них еще сообщалось: «Они увенчали себя дубовыми листьями, руки были полны пахучих трав и цветов; кто повстречался бы с ними, не ска-

зал бы ничего иного, как только то, что смерть их не победит, либо сразит веселыми». В конце «Декамерона» свободное общество веселых и жизнелюбивых рассказчиков утверждает уже те новые идеалы, которые с его точки зрения способны обеспечить вечную жизнь как отдельному человеку, так и всему человечеству.

Сконструировав в рассказах «Декамерона» мир новой культуры, молодые люди и дамы бесстрашно возвращаются в средневековую Флоренцию с твердой уверенностью, что выработанные в их обществе идеи и идеалы способны одолеть нравственный и социальный хаос чумы. Общество «Декамерона» заканчивает свое существование на том же самом месте, где оно возникло, – в церкви Санта Мария Новелла.

* * *

В «Декамероне» Боккаччо обогнал век и, кажется, даже самого себя. С гениальными поэтами такое случается. Начатый, видимо, в 1348 году, «Декамерон» был закончен то ли в 1351, то ли в 1353 году. Ничего хотя бы отдаленно напоминающего его главную книгу Боккаччо после 1353 года не создал. Иногда это объясняли его духовным и даже религиозным кризисом. Но дело было не в кризисе, хотя Боккаччо действительно быстро старел и порою испытывал мучительный страх перед адом, который ему неустанно пророчили религиозные проповедники. Дело было в другом: «Декамерон» не получил поддержки у тех читателей, на которых он был рассчитан. Книгу жадно читали средневековые купцы, выискивая в ней сальности, но она оставила равнодушной зарождающуюся в Италии интеллигенцию, презиравшую народный язык и твердо убежденную в том, что языком новой культуры должна стать возрождаемая Петраркой классическая латынь.

После 1353 года Боккаччо сблизился и даже подружился с Петраркой. «Декамерон» Петрарка прочитал и, с некоторыми оговорками, одобрил. Ему понравилось описание чумы и полемика Боккаччо с недоброжелателями, обвиняющими книгу в непристойностях. Но очень заинтересовавшую его новеллу о Гризельде Петрарка счел все-таки нужным перевести на латинский язык.

Судьба «Декамерона» в кругах почитателей и последователей Петрарки научила Боккаччо тому, что новое общество, в котором жили рассказчики «Декамерона», еще предстоит создать и что это невозможно сделать, опираясь только на опыт народно-городской культуры позднего Средневековья. В 50-е годы Боккаччо вступает на петрарковский путь построения новой культуры и вместе с Петраркой, опираясь на древность, закладывает основы тех *studia humanitatis*¹, которые станут необходимой идейной предпосылкой расцвета ренессансной литературы на народном языке, получившей распространение в конце XV – начале XVI века уже не только в одной Флоренции, но и во всей Италии.

Некогда принято было думать, что в старости Боккаччо отрекся от «Декамерона». Это не так. Теперь доказано, что незадолго до смерти Боккаччо собственноручно и очень старательно переписал свою главную книгу, видимо, собираясь подарить манускрипт Франческо Петрарке.

Р.И. Хлодовский

¹ Наука о человеке (лат.).

Декамерон НАЧИНАЕТСЯ КНИГА,

называемая Декамерон, прозванная Principe Galeotto, в которой содержится сто новелл, рассказанных в течение десяти дней семью дамами и тремя молодыми людьми.

ВВЕДЕНИЕ

Соболезновать удрученным – человеческое свойство, и хотя оно пристало всякому, мы особенно ожидаем его от тех, которые сами нуждались в утешении и находили его в других. Если кто-либо ощущал в нем потребность и оно было ему отрадно и приносило удовольствие, я – из числа таковых. С моей ранней молодости и по сию пору я был воспламенен через меру высокою, благородною любовью, более, чем, казалось бы, приличествовало моему низменному положению, – если я хотел о том рассказать; и хотя знающие люди, до сведения которых это доходило, хвалили и ценили меня за то, тем не менее любовь заставила меня претерпевать многое, не от жестокости любимой женщины, а от излишней горячности духа, воспитанной неупорядоченным желанием, которое, не удовлетворяясь возможной целью, нередко приносило мне больше горя, чем бы следовало. В таком-то горе веселые беседы и посильные утешения друга доставили мне столько пользы, что, по моему твердому убеждению, они одни и причиной тому, что я не умер. Но по благоусмотрению Того, который, будучи сам бесконечен, поставил непреложным законом всему сущему иметь конец, моя любовь, – горячая паче других, которую не в состоянии была порвать или поколебать никакая сила намерения, ни совет, ни страх явного стыда, ни могущая последовать опасность, – с течением времени сама собою настолько ослабела, что теперь оставила в моей душе лишь то удовольствие, которое она обыкновенно приносит людям, не пускающимся слишком далеко в ее мрачные волны. Насколько прежде она была тягостной, настолько теперь, с удалением страданий, я ощущаю ее как нечто приятное. Но с прекращением страданий не удалась память о благодеяниях, оказанных мне теми, которые, по своему расположению ко мне, печалились о моих невзгодах; и я думаю, память эта исчезнет разве со смертью. А так как, по моему мнению, благодарность заслуживает, между всеми другими добродетелями, особой хвалы, а противоположное ей – порицания, я, дабы не показаться неблагодарным, решился теперь, когда я могу считать себя свободным, в возврат того, что сам получил, по мере возможности уготовить некое облегчение, если не тем, кто мне помог (они по своему разуму и счастью, может быть, в том и не нуждаются), то по крайней мере имеющим в нем потребу. И хотя моя поддержка, или, сказать лучше, утешение, окажется слабым для нуждающихся, тем не менее мне кажется, что с ним надлежит особливо обращаться туда, где больше чувствуется в нем необходимость, потому что там оно и пользы принесет больше, и будет более оценено. А кто станет отрицать, что такого рода утешение, каково бы оно ни было, приличнее предлагать прелестным дамам, чем мужчинам? Они от страха и стыда таят в нежной груди любовное пламя, а что оно сильнее явного, про то знают все, кто его испытал; к тому же связанные волею, капризами, приказаниями отцов, матерей, братьев и мужей, они большую часть времени проводят в тесной замкнутости своих покоев и, сидя почти без дела, желая и не желая в одно и то же время, питают различные мысли, которые не могут же быть всегда веселыми. Если эти мысли наведут на них порой грустное расположение духа, вызванное страстным желанием, оно, к великому огорчению, останется при них, если не удалят его новые разговоры; не говоря уже о том, что женщины менее выносливы, чем мужчины. Всего этого не случается с влюбленными мужчинами, как то легко усмотреть. Если их постигнет грусть или удручение мысли, у них много средств облегчить его и обойтись, ибо, по желанию, они могут гулять, слышать и видеть многое, охотиться за птицей и зверем, ловить рыбу, ездить верхом, играть или торговать. Каждое из этих занятий может привлечь к себе душу, всецело или отчасти, устранив от нее грустные мысли, по крайней мере на известное время, после чего, так или иначе, либо наступает утешение, либо умалется печаль. Вот почему, желая отчасти исправить несправедливость фортуны, именно там поскупившейся на поддержку, где меньше было силы, – как то мы видим у слабых женщин, – я намерен сообщить на помощь и развлечение любящих (ибо остальные удовлетворяются иглой, веретеном и мотовилом) сто новелл, или,

как мы их назовем, басен, притч и историй, рассказанных в течение десяти дней в обществе семи дам и трех молодых людей в губительную пору прошлой чумы, и несколько песенок, спетых этими дамами для своего удовольствия. В этих новеллах встретятся забавные и печальные случаи любви и другие необычайные происшествия, приключившиеся как в новейшие, так и в древние времена. Читая их, дамы в одно и то же время получают и удовольствие от рассказанных в них забавных приключений, и полезный совет, поскольку они узнают, чего им следует избегать и к чему стремиться. Я думаю, что и то и другое обойдется не без умаления скуки; если, даст Бог, именно так и случится, да возблагодарят они Амура, который, освободив меня от своих уз, дал мне возможность послужить их удовольствию.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Начинается первый день Декамерона, в котором, после того как автор рассказал, по какому поводу собрались и беседовали выступающие впоследствии лица, под председательством Пампиней, рассуждают о чем кому заблагорассудится

Всякий раз, прелестные дамы, как я, размыслив, подумаю, насколько вы от природы сострадательны, я прихожу к убеждению, что вступление к этому труду покажется вам тягостным и грустным, ибо таким именно является начертанное в челе его печальное воспоминание о прошлой чумной смертности, скорбной для всех, кто ее видел или другим способом познал. Я не хочу этим отвратить вас от дальнейшего чтения, как будто и далее вам предстоит идти среди стенаний и слез: ужасное начало будет вам тем же, чем для путников неприступная, крутая гора, за которой лежит прекрасная, чудная поляна, тем более нравящаяся им, чем более было труда при восхождении и спуске. Как за крайнюю радость следует печаль, так бедствия кончаются с наступлением веселья, — за краткой грустью (говорю: краткой, ибо она содержится в немногих словах) последуют вскоре утеха и удовольствие, которые я вам наперед обещал и которых, после такого начала, никто бы и не ожидал, если бы его не предупредили. Сказать правду: если бы я мог достойным образом повести вас к желаемой мною цели иным путем, а не столь крутую тропой, я охотно так бы сделал; но так как нельзя было, не касаясь того воспоминания, объяснить причину, почему именно приключились события, о которых вы прочтете далее, я принимаюсь писать, как бы побужденный необходимостью.

Итак, скажу, что со времени благотворного вочеловечения Сына Божия минуло 1348 лет, когда славную Флоренцию, прекраснейший из всех итальянских городов, постигла смертоносная чума, которая, под влиянием ли небесных светил, или по нашим грехам посланная праведным гневом Божиим на смертных, за несколько лет перед тем открылась в областях востока и, лишив их бесчисленного количества жителей, безостановочно подвигаясь с места на место, дошла, разрастаясь плачевно, и до запада. Не помогали против нее ни мудрость, ни предусмотрительность человека, в силу которых город был очищен от нечистот людьми, нарочно для того назначенными, запрещено ввозить больных, издано множество наставлений о сохранении здоровья. Не помогали и умиленные моления, не однажды повторявшиеся, устроенные благочестивыми людьми, в процессиях или другим способом. Приблизительно к началу весны означенного года болезнь начала проявлять свое плачевное действие страшным и чудным образом. Не так, как на востоке, где кровотечение из носа было явным знамением неминуемой смерти, — здесь в начале болезни у мужчин и женщин показывались в пахах или под мышками какие-то опухоли, разраставшиеся до величины обыкновенного яблока или яйца, одни более, другие менее; народ называл их *gavoccioli* (чумными бубонами); в короткое время эта смертельная опухоль распространялась от указанных частей тела безразлично и на другие, а затем признак указанного недуга изменялся в черные и багровые пятна, появлявшиеся у многих на руках и бедрах и на всех частях тела, у иных большие и редкие, у других мелкие и частые. И как опухоль являлась вначале, да и позднее оставалась вернейшим признаком близкой смерти, таковым были пятна, у кого они выступали. Казалось, против этих болезней не помогали и не приносили пользы ни совет врача, ни сила какого бы то ни было лекарства: таково ли было свойство болезни, или невежество врачующих (которых, за вычетом ученых-медиков, явилось множество, мужчин и женщин, не имевших никакого понятия о медицине) не открыло ее причин, а потому не находило подходящих средств, — только немногие выздоравливали и почти все умирали на третий день после появления указанных признаков, одни скорее, другие позже, —

большинство без лихорадочных или других явлений. Развитие этой чумы было тем сильнее, что от больных, через общение с здоровыми, она переходила на последних, совсем так, как огонь охватывает сухие или жирные предметы, когда они близко к нему подвинуты. И еще большее зло было в том, что не только беседа или общение с больными переносило на здоровых недуг и причину общей смерти, но, казалось, одно прикосновение к одежде или другой вещи, которой касался или пользовался больной, передавало болезнь дотрагивавшемуся. Дивным покажется, что я теперь скажу, и если б того не видели многие и я своими глазами, я не решился бы тому поверить, не то что написать, хотя бы и слышал о том от человека, заслуживающего доверия. Скажу, что таково было свойство этой заразы при передаче ее от одного к другому, что она приставала не только от человека к человеку, но часто видали и нечто большее: что вещь, принадлежавшая больному или умершему от такой болезни, если к ней прикасалось живое существо не человеческой породы, не только заражала его недугом, но и убивала в непродолжительное время. В этом, как сказано выше, я убедился собственными глазами, между прочим, однажды на таком примере: лохмотья бедняка, умершего от такой болезни, были выброшены на улицу; две свиньи, набредя на них, по своему обычаю, долго теребили их рылом, потом зубами, мотая их со стороны в сторону, и по прошествии короткого времени, закружившись немного, точно поев отравы, упали мертвые на злополучные тряпки.

Такие происшествия и многие другие, подобные им и более ужасные, порождали разные страхи и фантазии в тех, которые, оставшись в живых, почти все стремились к одной, жестокой, цели: избегать больных и удаляться от общения с ними и их вещами; так поступая, воображали сохранить себе здоровье. Некоторые полагали, что умеренная жизнь и воздержание от всех излишеств сильно помогают борьбе со злом; собравшись кружками, они жили, отделившись от других, укрываясь и запираясь в домах, где не было больных и им самим было удобнее; употребляя с большой умеренностью изысканнейшую пищу и лучшие вина, избегая всякого излишества, не позволяя кому бы то ни было говорить с собою и не желая знать вестей извне – о смерти или больных, – они проводили время среди музыки и удовольствий, какие только могли себе доставить. Другие, увлеченные противоположным мнением, утверждали, что много пить и наслаждаться, бродить с песнями и шутками, удовлетворять, по возможности, всякому желанию, смеяться и издеваться над всем, что приключается – вот вернейшее лекарство против недуга. И как говорили, так, по мере сил, приводили и в исполнение, днем и ночью странствуя из одной таверны в другую, выпивая без удержу и меры, чаще всего устраивая это в чужих домах, лишь бы прослышали, что там есть нечто им по вкусу и в удовольствие. Делать это было им легко, ибо все предоставили и себя и свое имущество на произвол, точно им больше не жить; оттого большая часть домов стала общим достоянием, и посторонний человек, если вступал в них, пользовался ими так же, как пользовался бы хозяин. И эти люди, при их скотских стремлениях, всегда, по возможности, избегали больных. При таком удрученном и бедственном состоянии нашего города почтенный авторитет как Божеских, так и человеческих законов почти упал и исчез, потому что их служители и исполнители, как и другие, либо умерли, либо хворали, либо у них осталось так мало служилого люда, что они не могли отправлять никакой обязанности; почему всякому позволено было делать все, что заблагорассудится.

Многие иные держались среднего пути между двумя, указанными выше: не ограничивая себя в пище, как первые, не выходя из границ в питье и других излишествах, как вторые, они пользовались всем этим в меру и согласно потребностям, не запирались, а гуляли, держа в руках кто цветы, кто пахучие травы, кто какое другое душистое вещество, которое часто обоняли, полагая полезным освежать мозг такими ароматами, – ибо воздух казался зараженным и зловонным от запаха трупов, больных и лекарств. Иные были более сурового, хотя, быть может, более верного мнения, говоря, что против зараз нет лучшего средства, как бегство перед ними. Руководясь этим убеждением, не заботясь ни о чем, кроме себя, множество мужчин и женщин покинули родной город, свои дома и жилья, родственников и имущества и направились за

город, в чужие или свои поместья, как будто гнев Божий, каравший неправедных людей этой чумой, не взыщет их, где бы они ни были, а намеренно обрушится на оставшихся в стенах города, точно они полагали, что никому не остаться там в живых и настал его последний час.

Хотя из этих людей, питавших столь различные мнения, и не все умирали, но не все и спасались; напротив, из каждой группы заболевали многие и повсюду, и как сами они, пока были здоровы, давали в том пример другим здоровым, они изнемогали, почти совсем покинутые. Не станем говорить о том, что один горожанин избегал другого, что сосед почти не заботился о соседе, родственники посещали друг друга редко, или никогда, или виделись издали: бедствие воспитало в сердцах мужчин и женщин такой ужас, что брат покидал брата, дядя племянника, сестра брата и нередко жена мужа; более того и невероятнее: отцы и матери избегали навещать своих детей и ходить за ними, как будто то были не их дети. По этой причине мужчинам и женщинам, которые заболевали, а их количества не исчислить, не оставалось другой помощи, кроме милосердия друзей (таковых было немного), или корыстолюбия слуг, привлеченных большим, не по мере жалованьем; да и тех становилось не много, и были то мужчины и женщины грубого нрава, непривычные к такого рода уходу, ничего другого не умевшие делать, как подавать больным, что требовалось, да присмотреть, когда они кончались; отбывая такую службу, они часто вместе с заработком теряли и жизнь. Из того, что больные бывали покинуты соседями, родными и друзьями, а слуг было мало, развилась привычка, дотоле неслыханная, что дамы красивые, родовитые, заболевая, не стеснялись услугами мужчины, каков бы он ни был, молодой или нет, без стыда обнажая перед ним всякую часть тела, как бы то сделали при женщине, лишь бы того потребовала болезнь – что, быть может, стало впоследствии причиной меньшего целомудрия в тех из них, которые исцелялись от недуга. Умирали, кроме того, многие, которые, быть может, и выжили бы, если б им подана была помощь. От всего этого и от недостаточности ухода за больными, и от силы заразы, число умиравших в городе днем и ночью было столь велико, что страшно было слышать о том, не только что видеть. Оттого, как бы по необходимости, развились среди горожан, оставшихся в живых, некоторые привычки, противоположные прежним. Было в обычае (как то видим и теперь), что родственницы и соседки собирались в дому покойника и здесь плакали вместе с теми, которые были ему особенно близки; с другой стороны, у дома покойника сходились его родственники, соседи и многие другие горожане и духовенство, смотря по состоянию усопшего, и сверстники несли его тело на своих плечах, в погребальном шествии со свечами и пением, в церковь, избранную им еще при жизни. Когда сила чумы стала расти, все это было заброшено совсем или по большей части, а на место прежних явились новые порядки. Не только умирали без сходбища многих жен, но много было и таких, которые кончались без свидетелей, и лишь очень немногим доставались в удел умильные сетования и горькие слезы родных; вместо того, наоборот, в ходу были смех и шутки и общее веселье: обычай, отлично усвоенный, в видах здоровья, женщинами, отложившими большею частью свойственное им чувство сострадания. Мало было таких, тело которых провожали бы до церкви более десяти или двенадцати соседей; и то не почтенные, уважаемые граждане, а род могильщиков из простонародья, называвших себя беккинами и получавших плату за свои услуги: они являлись при гробе и несли его торопливо и не в ту церковь, которую усопший выбрал до смерти, а чаще в ближайшую, несли при немногих свечах или и вовсе без них, за четыремя или шестью клириками, которые, не беспокоя себя слишком долгой или торжественной службой, с помощью указанных беккинов клали тело в первую попавшуюся незанятую могилу. Мелкий люд, а может быть, и большая часть среднего сословия представляли гораздо более плачевное зрелище: надежда либо нищета побуждали их чаще всего не покидать своих домов и соседства; заболевая ежедневно тысячами, не получая ни ухода, ни помощи ни в чем, они умирали почти без изъятия. Многие кончались днем или ночью на улице; иные, хотя и умирали в домах, давали о том знать соседям не иначе, как запахом своих разлагавшихся тел. И теми и другими умиравшими повсюду все было полно.

Соседи, движимые столько же боязнью заражения от трупов, сколько и состраданием к умершим, поступали большею частью на один лад: сами либо с помощью носильщиков, когда их можно было достать, вытаскивали из домов тела умерших и клали у дверей, где всякий, кто прошелся бы, особенно утром, увидел бы их без числа; затем распоряжались доставлением носилок, но были и такие, которые за недостатком в них клали тела на доски. Часто на одних и тех же носилках их было два или три, но случалось не однажды, а таких случаев можно бы насчитать множество, что на одних носилках лежали жена и муж, два или три брата, либо отец и сын и т. д. Бывало также не раз, что за двумя священниками, шествовавшими с крестом перед покойником, увяжутся двое или трое носилок с их носильщиками следом за первыми, так что священникам, думавшим хоронить одного, приходилось хоронить шесть или восемь покойников, а иногда и более. При этом им не оказывали почета ни слезами, ни свечой, ни сопутствием, наоборот, дело дошло до того, что об умерших людях думали столько же, сколько теперь об околевшей козе. Так оказалось воочию, что если обычный ход вещей не научает и мудрецов переносить терпеливо мелкие и редкие утраты, то великие бедствия делают даже недалеких людей рассудительными и равнодушными. Так как для большого количества тел, которые, как сказано, каждый день и почти каждый час свозились к каждой церкви, не хватало освященной для погребения земли, особенно если бы по старому обычаю всякому захотели отводить особое место, то на кладбищах при церквях, где все было переполнено, вырывали громадные ямы, куда сотнями клали приносимые трупы, нагромождая их рядами, как товар на корабле, и слегка засыпая землей, пока не доходили до краев могилы.

Не передавая далее во всех подробностях бедствия, приключившиеся в городе, скажу, что, если для него година была тяжелая, она ни в чем не пощадила и пригородной области. Если оставить в стороне замки (тот же город в уменьшенном виде), то в разбросанных поместьях и на полях жалкие и бедные крестьяне и их семьи умирали без помощи медика и ухода прислуги по дорогам, на пашне и в домах, днем и ночью безразлично, не как люди, а как животные. Вследствие этого и у них, как у горожан, нравы разнуздались, и они перестали заботиться о своем достоянии и делах; наоборот, будто каждый наступивший день они чаяли смерти, они старались не уготовлять себе будущие плоды от скота и земель и своих собственных трудов, а уничтожать всяким способом то, что уже было добыто. Оттого ослы, овцы и козы, свиньи и куры, даже преданнейшие человеку собаки, изгнанные из жилья, плутали без запрета по полям, на которых хлеб был заброшен, не только что не убран, но и не сжат. И многие из них, словно разумные, покормившись вдоволь в течение дня, на ночь возвращались сытые, без понукания пастуха, в свои жилища.

Но оставляя пригородную область и снова обращаясь к городу, можно ли сказать что-либо больше того, что по суровости неба, а быть может, и по людскому жестокосердию между мартом и июлем, – частью от силы чумного недуга, частью потому, что вследствие страха, убившего здоровых, уход за больными был дурной и их нужды не удовлетворялись, – в стенах города Флоренции умерло, как полагают, около ста тысяч человек, тогда как до этой смертности, вероятно, и не предполагали, что в городе было столько жителей. Сколько больших дворцов, прекрасных домов и роскошных помещений, когда-то полных челяди, господ и дам, опустели до последнего служителя включительно! Сколько именитых родов, богатых наследий и славных состояний осталось без законного наследника! Сколько крепких мужчин, красивых женщин, прекрасных юношей, которых не то что кто-либо другой, но Гален, Гиппократ и Эскулап признали бы вполне здоровыми, утром обедали с родными, товарищами и друзьями, а на следующий вечер ужинали со своими предками на том свете!

Мне самому тягостно так долго останавливаться на этих бедствиях; поэтому, опустив в рассказе о них то, что можно, скажу, что в то время, как наш город при таких обстоятельствах почти опустел, случилось однажды (как я потом слышал от верного человека), что во вторник утром в досточтимом храме Санта Мария Новелла, когда там почти никого не было, семь моло-

дых дам, одетых, как было прилично по времени, в печальные одежды, простояв божественную службу, сошлись вместе; все они были связаны друг с другом дружбой, или соседством, либо родством; ни одна не перешла двадцативосьмилетнего возраста, и ни одной не было меньше восемнадцати лет; все разумные и родовитые, красивые, добрых нравов и сдержанно-приветливые. Я назвал бы их настоящими именами, если б у меня не было достаточного повода воздержаться от этого: я не желаю, чтобы в будущем какая-нибудь из них устыдилась за следующие повести, рассказанные либо слышанные ими, ибо границы дозволенных удовольствий ныне более стеснены, чем в ту пору, когда в силу указанных причин они были свободнейшими не только по отношению к их возрасту, но и к гораздо более зрелому; я не хочу также, чтобы завистники, всегда готовые укорить человека похвальной жизни, получили повод умалить в чем бы то ни было честное имя достойных женщин своими непристойными речами. А для того, чтобы можно было понять, не смешивая, что каждая из них будет говорить впоследствии, я намерен назвать их именами, отвечающими всецело или отчасти их качествам. Из них первую и старшую по летам назовем Пампинеей, вторую – Фьямметтой, третью – Филоменой, четвертую – Емилией, затем Лауреттой – пятую, шестую – Неифилой, последнюю, не без причины, Елизой. Все они, собравшись в одной части церкви, не с намерением, а случайно, сели как бы кружком и, после нескольких вздохов, оставив сказывание «Отче наш», вступили во многие и разнообразные беседы о злобе дня. По некотором времени, когда остальные замолчали, Пампинее так начала говорить:

– Милые мои дамы, вы, вероятно, много раз слышали, как и я, что пристойное пользование своим правом никому не приносит вреда. Естественное право каждого рожденного – поддерживать, сохранять и защищать, насколько возможно, свою жизнь; это так верно, что иногда, случалось, убивали без вины людей, лишь бы сохранить себе жизнь. Если то допускают законы, пекущиеся о благоустройстве всех смертных, то не подобает ли тем более нам и всякому другому принимать, не во вред никому, доступные нам меры к сохранению нашей жизни? Как соображу я наше поведение нынешним утром, да и во многие прошлые дни, и подумаю, как и о чем мы беседовали, я убеждаюсь, да и вы подобно мне, что каждая из нас боится за себя. Не это удивляет меня, а то, что при нашей женской впечатлительности мы не ищем никакого противодействия тому, чего каждая из нас страшится по праву. Кажется мне, мы живем здесь как будто потому, что желаем или обязаны быть свидетельницами, сколько мертвых тел отнесено на кладбище; либо слышать, поют ли здешние монахи, число которых почти свелось в ничто, свою службу в положенные часы; доказывать своей одеждой всякому приходящему качество и количество наших бед. Выйдя отсюда, мы видим, как носят покойников или больных; видим людей, когда-то осужденных властью общественных законов на изгнание за их проступки, неистово мечущихся по городу, точно издеваясь над законами, ибо они знают, что их исполнители умерли либо больны; видим, как подонки нашего города, под названием беккинов, упивающиеся нашей кровью, ездят и бродят повсюду на мучение нам, в бесстыдных песнях укоряя нас в нашей беде. И ничего другого мы не слышим, как только: такие-то умерли, те умирают; всюду мы услышали бы жалобный плач – если бы были на то люди. Вернувшись домой (не знаю, бывает ли с вами то же, что со мною), я, не находя там из большой семьи никого, кроме моей служанки, прихожу в трепет и чувствую, как у меня на голове поднимаются волосы; куда бы я ни пошла и где бы ни остановилась, мне представляются тени усопших, не такие, каковыми я привыкла их видеть, и пугающие меня страшным видом, неизвестно откуда в них явившимся. Вот почему и здесь, и в других местах, и дома я чувствую себя нехорошо, тем более что, мне кажется, здесь, кроме нас, не осталось никого, у кого, как у нас, есть и кровь в жилах, и готовое место убежища. Часто я слышала о людях (если таковые еще остались), которые, не разбирая между приличным и недозволенным, руководясь лишь вожделением, одни или в обществе, днем и ночью совершают то, что приносит им наибольшее удовольствие. И не только свободные люди, но и монастырские заключенники, убедив себя, что им прилично

и пристало делать то же, что и другим, нарушив обет послушания и отдавшись плотским удовольствиям, сделались распущенными и безнравственными, надеясь таким образом избежать смерти. Если так (а это очевидно), то что же мы здесь делаем? Чего ожидаем? О чем грезим? Почему мы безучастнее и равнодушнее к нашему здоровью, чем остальные горожане? Считаем ли мы себя менее ценными, либо наша жизнь прикреплена к телу более крепкой цепью, чем у других, и нам нечего заботиться о чем бы то ни было, что бы могло повредить ей? Но мы заблуждаемся, мы обманываем себя; каково же наше неразумие, если мы так именно думаем! Стоит нам только вспомнить, сколько и каких молодых людей и женщин похитила эта жестокая зараза, чтобы получить тому явное доказательство. И вот для того, чтобы, по малодушью или беспечности, нам не попасться в то, чего мы могли бы при желании избежать тем или другим способом, я считала бы за лучшее (не знаю, разделите ли вы мое мнение), чтобы мы, как есть, покинули город, как то прежде нас делали и еще делают многие другие, и, избегая паче смерти недостойных примеров, отправились честным образом в загородные поместья, каких у каждой из нас множество, и там, не переходя ни одним поступком за черту благоразумия, предались тем развлечениям, утехе и веселью, какие можем себе доставить. Там слышно пение птичек, виднеются зеленеющие холмы и долины, поля, на которых жатва волнуется, что море, тысячи пород деревьев и небо более открытое, которое, хотя и гневается на нас, тем не менее не скрывает от нас своей вечной красоты; все это гораздо прекраснее на вид, чем пустые стены нашего города. К тому же там и воздух прохладнее, большое обилие всего необходимого для жизни в такие времена и менее неприятностей. Ибо если и там умирают крестьяне, как здесь горожане, неприятного впечатления потому менее, что дома и жители встречаются реже, чем в городе. С другой стороны, здесь, если я не ошибаюсь, мы никого не покидаем, скорее, поистине, мы сами можем почитать себя оставленными, ибо наши близкие, унесенные смертью или избегая ее, оставили нас в таком бедствии одних, как будто мы были им чужие. Итак, никакого упрека нам не будет, если мы последуем этому намерению; горе и неприятность, а может быть, и смерть могут приключиться, коли не последуем. Поэтому, если вам заблагорассудится, я полагаю, мы хорошо и как следует поступим, если позовем своих служанок и, велев им следовать за нами с необходимыми вещами, будем проводить время сегодня здесь, завтра там, доставляя себе те удовольствия и развлечения, какие возможны по времени, и пребывая таким образом до тех пор, пока не увидим (если только смерть не постигнет нас ранее), какой исход готовит небо этому делу. Вспомните, наконец, что нам не менее пристало удалиться отсюда с достоинством, чем многим другим оставаться здесь, недостойным образом проводя время.

Выслушав Пампинею, другие дамы не только похвалили ее совет, но, желая последовать ему, начали было частным образом промеж себя толковать о способах, как будто, выйдя отсюда, им предстояло тотчас же отправиться в путь. Но Филомена, как женщина рассудительная, сказала: – Хотя все, что говорила Пампинея, очень хорошо, не следует так спешить, как вы, видимо, желаете. Вспомните, что все мы – женщины, и нет между нами такой юной, которая не знала бы, каково одним женщинам жить своим умом и как они устраиваются без присмотра мужчины. Мы подвижны, сварливы, подозрительны, малодушны и страшливы; вот почему я сильно опасаюсь, как бы, если мы не возьмем иных руководителей, кроме нас самих, наше общество не распалось слишком скоро и с большим ущербом для нашей чести, чем было бы желательно. Потому хорошо бы позаботиться о том прежде, чем начать дело. – Тогда сказала Елиза: – Справедливо, что мужчина – глава женщины и что без мужского руководства наши начинания редко приходят к похвальному концу. Но где нам достать таких мужчин? Каждая из нас знает, что большая часть ее ближних умерли, другие, оставшиеся в живых, бегут, собравшись кружками, кто сюда, кто туда, мы не знаем, где они; бегут от того же, чего желаем избежать и мы. Просить посторонних было бы неприлично; потому, если мы хотим себе благоуспехания, надо найти способ так устроиться, чтобы не последовало неприятности и стыда там, где мы ищем веселья и покоя.

Пока дамы пребывали в таких беседах, в церковь вошли трое молодых людей, из которых самому юному было, однако, не менее двадцати пяти лет и в которых ни бедствия времени, ни утраты друзей и родных, ни боязнь за самих себя не только не погасили, но и не охладили любовного пламени. Из них одного звали Памфило, второго – Филострато, третьего – Дионео; все они были веселые и образованные люди, а теперь искали, как высшего утешения в такой общей смуте, повидать своих дам, которые случайно нашлись в числе упомянутых семи, тогда как из остальных иные оказались в родстве с некоторыми из юношей. Они увидели дам не скорее, чем те заметили их, почему Пампиней заговорила, улыбаясь: – Видно, судьба благоприятствует нашим начинаниям, послав нам этих благоразумных и достойных юношей, которые будут нам руководителями и слугами, если мы не откажемся принять их на эту должность.

Неифила, лицо которой зарделось от стыда, ибо она была любима одним из юношей, сказала: – Боже мой, Пампиней, подумай, что ты говоришь! Я знаю наверно, что ни об одном из них, кто бы он ни был, нельзя ничего сказать, кроме хорошего, считаю их годными на гораздо большее дело, чем это, и думаю, что не только нам, но и более красивым и достойным, чем мы, их общество было бы приятно и почетно. Но, так как хорошо известно, что они влюблены в некоторых из нас, я боюсь, чтобы не последовало, без нашей или их вины, злой славы или нареканий, если мы возьмем их с собою. – Сказала тогда Филомена: – Все это ничего не значит: лишь бы жить честно и не было у меня угрызений совести, а там пусть говорят противное, Господь и правда возьмут за меня оружие. Если только они расположены пойти, мы вправду могли бы сказать, как Пампиней, что судьба благоприятствует нашему путешествию.

Услышав эти ее речи, другие девушки не только успокоились, но и с общего согласия решили позвать молодых людей, рассказать им свои намерения и попросить их, как одолжения, сопровождать их в путешествии. Вследствие этого, не теряя более слов и поднявшись, Пампиней, приходившаяся родственницей одному из юношей, направилась к ним, стоявшим и глядевшим на дам; весело поздоровавшись и объяснив свое намерение, она попросила их от лица всех не отказать сопутствовать им – в чистых и братских помыслах. Молодые люди подумали сначала, что над ними насмеются; убедившись, что Пампиней говорит серьезно, они с радостью ответили, что готовы, и, не затягивая дела, прежде чем разойтись, сговорились, что им предстояло устроить для путешествия. Велев надлежащим образом приготовить все необходимое и наперед послав оповестить туда, куда затеяли идти, на следующее утро, то есть в среду, на рассвете, дамы с несколькими прислужницами и трое молодых людей с тремя слугами, выйдя из города, пустились в путь и не прошли более двух малых миль, как прибыли к месту, в котором решено было расположиться на первый раз. Оно лежало на небольшом пригорке, со всех сторон несколько удаленном от дорог, полном различных кустарников и растений в зелени, приятных для глаз. На вершине возвышался палаццо с прекрасным, обширным двором внутри, с открытыми галереями, залами и покоями, прекрасными как в отдельности, так и в общем, украшенными замечательными картинами; кругом полянки и прелестные сады, колодцы свежей воды и погреба, полные дорогих вин – что более пристало их знатокам, чем умеренным и скромным дамам. К немалому своему удовольствию, общество нашло к своему прибытию все выметенным; в покоях стояли приготовленные постели, все устлано цветами, какие можно было достать по времени года, и тростником. Когда по приходе все сели, Дионео, отличавшийся перед всеми другими веселостью и остроумными выходками, обратился к дамам: – Ваш ум более, чем наша находчивость, привел нас сюда; я не знаю, что вы намерены делать с вашими мыслями; свои я оставил за воротами города, когда, недавно тому назад, вышел из них вместе с вами; поэтому либо приготовьтесь веселиться, хохотать и петь вместе со мною (насколько, разумеется, приличествует вашему достоинству), либо пустите меня вернуться к своим мыслям в постигнутый бедствиями город. – Весело отвечала ему Пампиней, как будто и она точно так же отогнала от себя свои мысли: – Ты прекрасно сказал, Дионео, будем жить весело, не по другой же причине мы убежали от скорбей. Но так как всё, не знающее

меры, длится недолго, я, начавшая беседы, приведшие к образованию столь милого общества, желаю, чтобы наше веселье было продолжительным, и потому полагаю необходимым нам всем согласиться, чтобы между нами был кто-нибудь главным, которого мы почитали бы и слушались как набольшего и все мысли которого были бы направлены к тому, чтобы нам жилось весело. Но для того чтоб каждый мог испытать как бремя заботы, так и удовольствие почета, и при выборе из тех и других никто, не испытав того и другого, не ощущал зависти, я полагаю, чтобы каждому из нас, по очереди, присваивались на день и бремя, и честь: пусть первый будет избран всеми нами, последующие назначаемы, как приблизится время вечере, по усмотрению того или той, кто в тот день был старшим; этот назначенный пусть все устраивает и, на время своего начальства, располагает по своему произволу местом пребывания и распорядком нашей жизни.

Эти речи в высшей степени понравились, и Пампинея была единогласно избрана на первый день, тогда как Филомена, часто слышавшая в разговорах, как почетны листья лавра и сколько чести они доставляют достойно увенчанным ими, быстро подбежала к лавровому дереву и, сорвав несколько веток, сделала прекрасный, красивый венок и возложила его на Пампинею. С тех пор, пока держалось их общество, венок был для всякого другого знаком королевской власти или старшинства.

Став королевой, Пампинея велела всем умолкнуть и, распорядившись позвать слуг трех юношей и своих четырех служанок, среди общего молчания сказала: – Для того чтоб мне первой подать вам пример, каким образом наше общество, преуспевая в порядке и удовольствии и без зазора, может существовать и держаться, пока нам заблагорассудится, я, во-первых, назначаю Пармено, слугу Дионео, моим сенешалем, поручая ему заботиться и печься о челяди и столовой. Сирис, слуга Памфило, пусть будет нашим расходчиком и казначеем, повинуюсь приказаниям Пармено. Тиндаро будет при Филострато и двух других молодых людях, прислуживая им в их покоях, когда его товарищи, отвлеченные своими обязанностями, не могли бы этому отдался. Моя служанка Мизия и Личиска, прислужница Филомены, будут постоянно при кухне, тщательно заботясь о приготовлении кушаний, какие закажет им Пармено. Кимера и Стратилия, горничные Лауретты и Фьямметты, будут, по моему приказанию, убирать дамские комнаты и наблюдать за чистотою покоев, где мы будем собираться; всякому вообще дорожающему нашим расположением мы предъявляем наше желание и требование, чтобы, куда бы он ни пошел, откуда бы ни возвратился, что бы ни слышал или видел, он воздержался от сообщения нам каких-либо известий извне, кроме веселых. – Отдав вкратце эти приказания, встретившие общее сочувствие, Пампинея встала и весело сказала: – Здесь у нас сады и поляны и много других приятных мест, пусть каждый гуляет в свое удовольствие, но лишь только ударит третий час, пусть будет здесь на месте, чтобы нам можно было обедать, пока прохладно.

Когда новая королева отпустила таким образом веселое общество, юноши и прекрасные дамы тихо направились по саду, разговаривая о приятных вещах, плетя венки из различных веток и любовно распевая. Проведя таким образом время, пока настал срок, назначенный королевой, и вернувшись домой, они убедились, что Пармено ревностно принялся за исполнение своей обязанности, ибо, вступив в залу нижнего этажа, они увидели столы, накрытые белоснежными скатертями, чары блестели как серебро и все было усеяно цветами терновника. После того как по распоряжению королевы подали воду для омовения рук, все пошли к местам, назначенным Пармено. Явились тонко приготовленные кушанья и изысканные вина, и, не теряя времени и слов, трое слуг принялись служить при столе; и так как все было хорошо и в порядке устроено, все пришли в отличное настроение и обедали среди приятных шуток и веселья. Когда убрали со стола, королева велела принести инструменты, так как все дамы, да и юноши умели плясать, а иные из них играть и петь; по приказанию королевы Дионео взял лютню, Фьямметта – виолу, и оба стали играть прелестный танец, а королева, отослав прислугу обедать, составила вместе с другими дамами и двумя молодыми людьми круг и принялась тихо ходить в круговой

пляске; когда она кончилась, начали петь хорошенькие, веселые песни. Так провели они время, пока королеве не показалось, что пора отдохнуть; когда она всех отпустила, трое юношей удалились в свои отделенные от дамских покои, где нашли хорошо приготовленные постели и все было полно цветов, как и в зале; удалились также и дамы и, раздевшись, пошли отдохнуть.

Только что пробил девятый час, как королева, поднявшись, подняла и других дам, а также и молодых людей, утверждая, что долго спать днем вредно. И вот все направились к лужайке с высокой зеленой травой, куда солнце не доходило ни с какой стороны. Веял мягкий ветерок; когда по приказанию королевы все уселись кругом на зеленой траве, она сказала: – Вы видите, солнце еще высоко и жар стоит сильный, только и слышны что цикады на оливковых деревьях; пойти куда-нибудь было бы несомненно глупо. Здесь в прохладе хорошо, есть шашки и шахматы, и каждый может доставить себе удовольствие, какое ему более по нраву. Но если бы вы захотели последовать моему мнению, мы провели бы жаркую часть дня не в игре, в которой по необходимости состояние духа одних портится, без особого удовольствия других, либо смотрящих на нее, – а в рассказах, что может доставить удовольствие слушающим одного рассказчика. Вы только что успеете рассказать каждый какую-нибудь повесть, как солнце уже будет на закате, жар спадет, и мы будем в состоянии пойти в наше удовольствие, куда нам захочется. Если то, что я предложила, вам нравится (а я готова следовать вашему желанию), так и сделаем; если нет, то пусть каждый до вечернего часа делает, что ему угодно. – И дамы, и мужчины равно высказались за рассказы. – Коли вам это нравится, – сказала королева, – то я решаю, чтобы в этот первый день каждому вольно было рассуждать о таких предметах, о каких ему заблагорассудится.

И, обратившись к сидевшему по правую руку Памфило, она любезно попросила его начать рассказы какой-нибудь своей новеллой. Услышав приказ, Памфило начал, при общем внимании, таким образом.

Новелла первая

Сэр Чаппеллетто обманывает лживой исповедью благочестивого монаха и умирает; негодяй при жизни, по смерти признан святым и назван San Ciappelletto

– Милые дамы! За какое бы дело ни принимался человек, ему достоин начинать его во чудесное и святое имя Того, кто был Создателем всего сущего. Потому и я, на которого первого выпала очередь открыть наши беседы, хочу рассказать об одном из чудных Его начинаний, дабы, услышав о нем, наша надежда на Него утвердилась, как на незыблемой почве, и Его имя восхвалено было нами во все дни. Известно, что все существующее во времени – преходяще и смертно, исполнено в самом себе и вокруг скорби, печали и труда, подвержено бесконечным опасностям, которые мы, живущие в нем и составляющие его часть, не могли бы ни вынести, ни избежать, если бы особая милость Божия не давала нам на то силы и предусмотрительности. Нечего думать, что эта милость нисходит к нам и пребывает в нас за наши заслуги, а дается она по Его собственной благодати и молитвами тех, кто, подобно нам, были смертными людьми, но, следуя при жизни Его велениям, теперь стали вместе с Ним вечными и блаженными. К ним, как к заступникам, знающим по опыту нашу слабость, мы и обращаемся, моля их о наших нуждах, может быть, не осмеливаясь возносить наши молитвы к такому судии, как Он. Тем больше мы признаем Его милосердие к нам, что, при невозможности проникнуть смертным оком в тайны божественных помыслов, нередко случается, что, введенные в заблуждение молвой, такого мы избираем перед Его величием заступника, который навеки Им осужден; а, несмотря на это, Он, для которого нет тайны, обращая более внимания на чистосердечие молящегося, чем на его невежество или осуждение призываемого, внимает молящим, как будто призываемый ими удостоился перед Его лицом спасения. Все это ясно будет из новеллы, которую я хочу рассказать вам: я говорю «ясно» с точки зрения человеческого понимания, не божественного промысла.

Рассказывают о Мушьятто Францези, что, когда из богатого и именитого купца он стал кавалером и собирался поехать в Тоскану вместе с Карлом Безземельным, братом французского короля, вызванным и побужденным к тому папой Бонифацием, он увидел, что дела его там и здесь сильно запутаны, как то нередко у купцов, и что распутать их не легко и не скоро, и потому он решил поручить ведение их нескольким лицам. Все дела он устроил; только одно у него осталось сомнение: где ему отыскать человека, способного взыскать его долги с некоторых бургундцев? Причина сомнения была та, что он знал бургундцев за людей охочих до ссоры, негодных и не держащих слова, и он не в состоянии был представить себе человека настолько коварного, что он мог бы с уверенностью противопоставить его коварству бургундцев. Долго он думал об этом вопросе, когда пришел ему на память некий сэр Чеппарелло из Прато, часто хаживавший к нему в Париже. Этот Чеппарелло был небольшого роста, одевался чистенько, а так как французы, не понимая, что означает Чеппарелло, думали, что это то же, что на их языке chapel, то есть венок, то они и прозвали его не capello, а *Ciappelletto*, потому что, как я уже сказал, он был мал ростом. Так его всюду и знали за Чаппеллетто, и лишь немногие за сэра Чеппарелло. Жизнь этого Чаппеллетто была такова: был он нотариусом, и для него было бы величайшим стыдом, если бы какой-нибудь из его актов (хотя их было у него немного) оказался не фальшивым; таковые он готов был составлять по востребованию и охотнее даром, чем другой за хорошее вознаграждение. Лжесвидетельствовал он с великим удовольствием, прощенный и непрощенный; в то время во Франции сильно веровали в присягу, а ему ложная клятва была нипочем, и он злостным образом выигрывал все дела, к которым его привлекали с требованием: сказать правду по совести. Удовольствием и заботой было для него посеять раздор, вражду и скандалы между друзьями, родственниками и кем бы то ни было, и

чем больше от того выходило бед, тем было ему милее. Если его приглашали принять участие в убийстве или каком другом дурном деле, он шел на то с радостью, никогда не отказываясь, нередко и с охотой собственными руками нанося увечье и убивая людей. Кошунствовал он на Бога и святых страшно, из-за всякой безделицы, ибо был гневлив не в пример другим. В церковь никогда не ходил и глумился неприличными словами над ее таинствами, как ничего не стоящими; наоборот, охотно ходил в таверны и посещал другие непристойные места. До женщин был охоч, как собака до палки, зато в противоположном пороке находил больше удовольствия, чем иной развратник. Украсть и ограбить он мог бы с столь же спокойной совестью, с какой благочестивый человек подал бы милостыню; обжора и пьяница был он великий, нередко во вред и поношение себе; шулер и злостный игрок в кости был он отъявленный. Но к чему тратить слова? Худшего человека, чем он, может быть, и не родилось. Положение и влияние мессера Мушьятто долгое время прикрывали его злостные проделки, почему и частные люди, которых он нередко оскорблял, и суды, которые он продолжал оскорблять, спускали ему. Когда мессер Мушьятто вспомнил о сэре Чаппеллетто, жизнь которого прекрасно знал, ему представилось, что это и есть человек, какого надо для злостных бургундцев: потому, велел позвать его, он сказал: «Ты знаешь, сэр Чаппеллетто, что я отсюда уезжаю совсем; между прочим, есть у меня дела с бургундцами, обманщиками, и я не нахожу человека, более тебя подходящего, которому я мог бы поручить взыскать с них мое. Теперь тебе делать нечего, и если ты возьмешься за это, я обещаю снискать тебе расположение суда и дать тебе приличную часть суммы, какую ты взыщешь». Сэр Чаппеллетто, который был без дела и не особенно богат благами мира сего, видя, что удаляется тот, кто долго был ему поддержкой и убежищем, немедленно согласился, почти побуждаемый необходимостью, и объявил, что готов с полной охотой. На том сошлись. Сэр Чаппеллетто, получив доверенность мессера Мушьятто и рекомендательные королевские письма, отправился, по отъезде мессера Мушьятто, в Бургундию, где его никто почти не знал. Здесь, наперекор своей природе, он начал взыскивать долги мягко и дружелюбно и делать дело, за которым приехал, как бы предоставляя себе расходиться под конец. Во время этих занятий, пребывая в доме двух братьев флорентинцев, занимавшихся ростовщичеством и чествовавших его ради мессера Мушьятто, он заболел. Братья тотчас же послали за врачами и людьми, которые бы за ним ходили, и сделали все необходимое для его здоровья; но всякая помощь была напрасна, потому что, по словам медиков, сэру Чаппеллетто, уже старику, к тому же беспорядочно пожившему, становилось хуже со дня на день, болезнь была смертельная. Это сильно печалило братьев; однажды они завели такой разговор по соседству с комнатой, где лежал больной сэр Чаппеллетто. «Что мы с ним станем делать? – говорил один другому. – Плохо нам с ним: выгнать его, больного, из дому было бы страшным зазором и знаком неразумия: все видели, как мы его раньше приняли, потом доставили ему тщательный уход и врачебную помощь – и вдруг увидят, что мы выгоняем его, больного, при смерти, внезапно из дому, когда он и не в состоянии был сделать нам что-либо неприятное. С другой стороны, он был таким негодяем, что не захочет исповедаться и приобщиться святых тайн, и если умрет без исповеди, ни одна церковь не примет его тела, которое бросят в яму, как собаку. Но если он и исповедается, то у него столько грехов и столь ужасных, что выйдет то же, ибо не найдется такого монаха или священника, который согласился бы отпустить их ему; так, не получив отпущения, он все же угодит в яму. Коли это случится, то жители этого города, которые беспрестанно поносят нас за наше ремесло, представляющееся им несправедным, и которые не прочь нас пограбить, увидев это, поднимутся на нас с криком: „Нечего щадить этих псов ломбардцев, их и церковь не принимает!“ И бросятся они на наши дома и, быть может, не только разграбят наше достояние, но к тому же лишат и жизни. Так или иначе, а нам плохо придется, если он умрет».

Сэр Чаппеллетто, лежавший, как я сказал, поблизости от того места, где они таким образом беседовали, при том изошренном слухе, какой часто бывает у больных, услышал, что о нем

говорили. Велев их позвать к себе, он сказал: «Я не желаю, чтобы вы беспокоились по моему поводу и боялись потерпеть из-за меня. Я слышал, что вы обо мне говорили, и вполне уверен, что так бы все и случилось, как вы рассчитывали, если бы дело пошло так, как предполагаете. Но оно выйдет иначе. При жизни я так много оскорблял Господа, что если накануне смерти я сделаю то же в течение какого-нибудь часа, вины от того будет ни больше, ни меньше. Потому распорядитесь позвать ко мне святого, хорошего монаха, какого лучше найдете, если таковой есть, и предоставьте мне действовать: я наверно устрою и ваши и мои дела так хорошо, что вы останетесь довольны». Братья, хотя и не питали большой надежды, тем не менее отправились в один монастырь и потребовали какого-нибудь святого, разумного монаха, который исповедал бы ломбардца, занемогшего в их доме; им дали старика святой, примерной жизни, великого знатока Св. Писания, человека очень почтенного, к которому все горожане питали особое, великое уважение. Повели они его; придя в комнату, где лежал сэр Чаппеллетто, и подойдя к нему, он начал бладушно утешать его, а затем спросил, сколько времени прошло с его последней исповеди. Сэр Чаппеллетто, никогда не исповедовавшийся, отвечал: «Отец мой, по обыкновению я исповедуюсь каждую неделю по крайней мере один раз, не считая недель, когда и чаще бываю на исповеди; правда, с тех пор, как я заболел, тому неделя, я не исповедовался: такое горе учинил мне мой недуг!» – «Хорошо ты делал, сын мой, – сказал монах, – делай так и впредь; вижу я, что мало мне придется услышать и спрашивать, так как ты так часто бываешь на духу». – «Не говорите этого, святой отец, – сказал сэр Чаппеллетто, – сколько бы раз и как ни часто я исповедовался, я всегда имел в виду принести покаяние во всех своих грехах, о каких только я помнил со дня моего рождения до времени исповеди; потому прошу вас, честнейший отец, спрашивать меня обо всем так подробно, как будто я никогда не исповедовался. Не смотрите на то, что я болен: я предпочитаю сделать неприятное моей плоти, чем, потакая ей, совершить что-либо к гибели моей души, которую мой Спаситель искупил своею драгоценною кровью». Эти речи очень понравились святому отцу и показались ему свидетельством благочестивого настроения духа. Усердно одоблив такое обыкновение сэра Чаппеллетто, он начал его спрашивать, не согрешил ли он когда-либо с какой-нибудь женщиной? Сэр Чаппеллетто отвечал, вздыхая: «Отче, в этом отношении мне стыдно открыть вам истину, потому что я боюсь погрешить тщеславием». – «Говори, не бойся, никто еще не согрешал, говоря правду на исповеди или при другом случае». Сказал тогда сэр Чаппеллетто: «Если вы уверяете меня в этом, то я скажу вам: я такой же девственник, каким вышел из утробы моей матушки». – «Да благословит тебя Господь! – сказал монах. – Хорошо ты сделал и, поступая таким образом, тем более заслужил, что, если бы захотел, ты мог бы совершать противоположное с большей свободой, чем мы и все те, кто связан каким-либо обетом». Потом он спросил его, не разгневал ли он Бога грехом чревоугодия. «Да, и много раз», – отвечал сэр Чаппеллетто, глубоко вздохнув, потому что хотя он держал все посты в году, соблюдаемые благочестивыми людьми, и каждую неделю привык по крайней мере три раза поститься на хлебе и воде, тем не менее он пил воду с таким наслаждением и охотою, с каким большие любители пьют вино, особенно устав после хождения на молитву, либо в паломничестве; часто также у него являлся аппетит к салату из трав, какой собирают крестьянки, отправляясь в поле; иногда еда казалась ему более вкусной, чем следовало бы, по его мнению, казаться тому, кто, подобно ему, постничает по благочестию. На это отвечал монах: «Сын мой, эти грехи в природе вещей, легкие, и я не хочу, чтобы ты излишне отягчал ими свою совесть. С каждым человеком, как бы он ни был свят, случается, что пища кажется ему вкусной после долгого голода, а питье после усталости». – «Не говорите мне этого в утешенье, отец мой, – возразил Чаппеллетто, – вы знаете, как и я, что все, делаемое ради Господа, должно совершаться в чистоте и без всякой мысленной скверны; кто поступает иначе, грешит». Монах умилился: «Я очень рад, что таковы твои мысли, и мне чрезвычайно нравится твоя чистая, честная совесть. Но, скажи мне, не грешил ли ты любодеянием, желая большего, чем следует, удерживая, что бы не следовало?» Отвечал на

это сэр Чаппеллетто: «Я не желал бы, отец мой, чтобы вы заключили обо мне по тому, что я в доме у этих ростовщиков; у меня нет с ними ничего общего, я даже приехал сюда, чтобы их усовестить, убедить и отвратить от этого мерзкого промысла, и, может быть, успел бы в этом, если бы Господь не взыскал меня. Знайте, что отец оставил мне хорошее состояние, большую часть которого я подал, по его смерти, на милостыню; затем, чтобы самому существовать и помогать нищей братье во Христе, я стал понемногу торговать, желая тем заработать, всегда разделяя свои прибитки с Божьими людьми, одну половину обращая на свои нужды, другую отдавая им. И так помог мне в том мой Создатель, что мои дела устраивались от хорошего к лучшему». – «Хорошо ты поступил, – сказал монах, – но не часто ли предавался ты гневу?» – «Увы, – сказал сэр Чаппеллетто, – этому, скажу вам, я предавался часто. И кто бы воздержался, видя ежедневно, как люди безобразничают, не соблюдая Божьих заповедей, не боясь Божьего суда? Несколько раз в день являлось у меня желание – лучше умереть, чем жить, когда видел я молодых людей, гоняющихся за соблазнами, клянущихся и нарушающих клятву, бродящих по тавернам и не посещающих церкви, более следующих путям мира, чем путям Господа». – «Сын мой, – сказал монах, – это святой гнев, и за это я не наложу на тебя эпитимии. Но, быть может, гнев побудил тебя совершить убийство, нанести кому-нибудь оскорбление или другую обиду?» – «Боже мой, – возразил сэр Чаппеллетто, – вы, кажется, святой человек, а говорите такие вещи! Да если бы у меня зародилась малейшая мысль совершить одно из тех дел, которые вы назвали, неужели, думаете вы, Господь так долго поддерживал бы меня? На такие вещи способны лишь разбойники и злодеи; я же всякий раз, как мне случалось видеть кого-нибудь из таковых, всегда говорил: „Ступай, да обратит тебя Господь!“» Сказал тогда монах: «Скажи-ка мне, сын мой, да благословит тебя Господь, не лжесвидетельствовал ли ты против кого-нибудь, не злословил ли, не отбирал ли чужое против желания владельца?» – «Да, мессере, говорил я злое против другого: был у меня сосед, без всякого повода то и дело бивший свою жену; я однажды и сказал о нем дурное родственникам жены; такую я жалость почувствовал к этой бедняжке, которую он бог знает как колотил всякий раз, как напивался». – «Хорошо, – продолжал монах, – ты сказал мне, что был купцом; не обманывал ли ты кого, как то делают купцы?» – «Виноват, – отвечал сэр Чаппеллетто, – только не знаю, кого обманул: кто-то принес мне деньги за проданное ему сукно, я и положил их в ящик, не пересчитав, а месяц спустя нашел там четыре мелких монеты сверх того, что следовало; не видя того человека, я хранил деньги в течение года, чтобы отдать их ему, а затем подал их во имя Божие». – «Это дело маловажное, ты сделал хорошо, так распорядившись», – сказал монах. Кроме того, еще о многих других вещах расспрашивал его святой отец, и на все он отвечал таким же образом. Монах хотел уже отпустить его, как сэр Чаппеллетто сказал: «Мессер, за мной есть еще один грех, о котором я не сказал вам». – «Какой же?» – спросил тот, а этот отвечал: «Я припоминаю, что однажды велел своему слуге вынести дом в субботу, после девятого часа, позабыв достойное уважение к воскресенью». – «Маловажное это дело, сын мой», – сказал монах. «Нет, не говорите, что маловажное, – сказал сэр Чаппеллетто, – воскресный день надо нарочито чтить, ибо в этот день воскрес из мертвых Господь наш». Сказал тогда монах: «Не сделал ли ты еще чего?» – «Да, мессере, – отвечал сэр Чаппеллетто, – однажды, позабывшись, я плюнул в церкви Божьей». Монах улыбнулся. «Сын мой, – сказал он, – об этом не стоит тревожиться; мы, монахи, ежедневно там плюем». – «И очень дурно делаете, – сказал сэр Чаппеллетто, – святой храм надо паче всего содержать в чистоте, ибо в нем приносится жертва Божия». Одним словом, такого рода вещей он наговорил монаху множество, а под конец принялся вздыхать и горько плакать, что отлично умел делать, когда хотел. «Что с тобой, сын мой?» – спросил святой отец. Отвечал сэр Чаппеллетто: «Увы мне, мессере, один грех у меня остался, никогда я в нем не каялся, так мне стыдно открыть его: всякий раз, как вспомню о нем, плачу, как видите, и кажется мне, наверно Господь никогда не смилуетя надо мной за это прегрешение». – «Что ты это говоришь, сын мой? – сказал монах. – Если бы все грехи, когда бы то ни было совершенные людьми

или имеющие совершиться до скончания света, были соединены в одном лице и человек тот так же бы раскаялся и умилился, как ты, то столь велики милость и милосердие Божие, что Господь простил бы их по своей благодати, если бы Он их исповедал. Потому говори, не бойся». Но сэр Чаппеллетто продолжал сильно плакать: «Увы, отец мой, – сказал он, – мой грех слишком велик, и я почти не верю, чтобы Господь простил мне его, если не помогут ваши молитвы». – «Говори без страха, – сказал монах, – я обещаю помолиться за тебя Богу». Сэр Чаппеллетто все плакал и ничего не говорил, а монах продолжал увещевать его. Долго рыдая, продержал сэр Чаппеллетто монаха в таком ожидании и затем, испустив глубокий вздох, сказал: «Отец мой, так как вы обещали помолиться за меня Богу, я вам откроюсь: знайте, что, будучи еще ребенком, я выбралил однажды мою мать!» Сказав это, он снова принялся сильно плакать. «Сын мой, – сказал монах, – и этот-то грех представляется тебе ужасным? Люди весь день богохульствуют, и Господь охотно прощает раскаявшихся в своем богохульстве; а ты думаешь, что Он тебя не простит? Не плачь, утешься; уверяю тебя, если бы ты был из тех, кто распял Его на кресте, Он простил бы тебе: так велико, как вижу, твое раскаяние». – «Увы, отец мой, что это вы говорите! – сказал сэр Чаппеллетто. – Моя милая мама носила меня в течение девяти месяцев денно и нощно; и на руках носила более ста раз; дурно я сделал, что ее выбралил, тяжелый это грех! Если вы не помолитесь за меня Богу, не простится он мне». Когда монах увидел, что сэру Чаппеллетто не осталось сказать ничего более, он отпустил его и благословил, считая его святым человеком, ибо вполне веровал, что все сказанное сэром Чаппеллетто правда. И кто бы не поверил, услышав такие речи от человека в час смертный? После всего этого он сказал: «Сэр Чаппеллетто, с Божьей помощью вы скоро выздоровеете, но если бы случилось, что Господь призовет к себе вашу благословенную и готовую душу, не заблагорассудите ли вы, чтобы ваше тело было погребено в нашем монастыре?» – «Да, мессере, – отвечал сэр Чаппеллетто, – и я не желал бы другого места, так как вы обещали молиться за меня, не говоря уже о том, что я всегда был особенно предан вашему ордену. Потому прошу вас, как вернетесь к себе, распорядиться, чтобы мне принесли истинное тело Христово, которое вы каждое утро освящаете на алтаре, ибо, хотя и недостойный, я желаю с вашего разрешения причаститься его, а затем удостоиться святого, последнего помазания, дабы, прожив в грехах, по крайней мере умереть христианином». Святой муж с радостью согласился, похвалил его намерение и сказал, что тотчас распорядится, чтобы ему все доставили. Так и было сделано.

Оба брата, сомневавшиеся, как бы не провел их сэр Чаппеллетто, поместились за перегородкой, отделявшей их от комнаты, где лежал сэр Чаппеллетто, и, прислушиваясь, легко могли слышать и уразуметь все, что сэр Чаппеллетто говорил монаху; слыша исповедь его проступков, они не раз готовы были прыснуть со смеха. «Вот так человек! – говорили они промеж себя, – ни старость, ни болезнь, ни страх близкой смерти, ни страх перед Господом, на суд которого он должен предстать через какой-нибудь час, ничто не отвлекло его от греховности и желания умереть таким, каким жил». Услышав, что его обещали похоронить в церкви, они перестали заботиться о дальнейшем. Вскоре после того сэр Чаппеллетто причастился и, когда ему стало хуже через меру, соборовался; в тот же день, когда совершилась его примерная исповедь, вскоре после вечерни он скончался. Потому оба брата, приготовив на средства покойного приличные похороны и послав сказать монахам, чтобы они, по обычаю, явились вечером для всенощного бдения, а утром на погребение, устроили все для того необходимое. Благочестивый монах, исповедовавший его, услышав об его кончине, переговорил с приором монастыря и, созвав колокольным звоном братию, рассказал им, какой святой человек был сэр Чаппеллетто, судя по его исповеди. Он выразил надежду, что ради него Господь проявит многие чудеса, и убеждал монахов принять его тело с подобающею честью и благоговением. Приор и легковверные монахи согласились; вечером отправились они туда, где лежало тело сэра Чаппеллетто; отслужили над ним большую торжественную панихиду, а утром в стихарях и мантиях, с книгами в руках и преднесением крестов, с пением отправились за телом и с большим

почетом и торжеством отнесли его в церковь, сопровождаемые почти всем населением города, мужчинами и женщинами. Когда поставили его в церкви, святой отец, исповедовавший его, взойдя на амвон, начал проповедовать дивные вещи об его жизни и постничестве, девственности, об его простоте, невинности и святости и, между прочим, рассказал о том, что сэр Чаппеллетто, каясь, в слезах признал своим наибольшим грехом и как он насилу мог втолковать ему, что Господь простит ему. Затем, обратившись с укором к слушателям, он сказал: «А вы, проклятые Господом, хулите Бога и Матерь Его и весь райский лик по поводу каждой соломинки, попавшей вам под ноги!» И много еще другого говорил он о его доброте и чистоте. Вскоре своими речами, к которым деревенский люд относился с полной верой, он так вбил им в головы благоговейные помыслы, что по окончании службы все в страшной давке бросились целовать ноги и руки покойника, разорвали в клочки бывшую на нем одежду; и счастливым считал себя тот, кому досталась хоть частичка. Пришлось оставить его таким образом в течение всего дня, дабы все могли видеть и лицезреть его. Когда наступила ночь, его благолепно похоронили в мраморной гробнице, в одной капелле; на следующий день стал понемногу приходить народ, ставить свечи и поклоняться и приносить обеты и вешать восковые фигурки – по обещанию. Так возросла молва об его святости и почитание его, что не было почти никого, кто бы в несчастье обратился к другому святому, а не к нему. Прозвали его и зовут San Ciappelletto и утверждают, что Господь ради него много чудес проявил и еще ежедневно проявляет тем, кто с благоговением прибегает к нему.

Вот как жил и умер сэр Чаппеллетто из Прато; так-то, как вы слышали, он сделался святым. Я не отрицаю возможности, что он сподобился блаженства перед лицом Господа, потому что, хотя его жизнь и была преступной и порочной, он мог под конец принести такое покаяние, что, быть может, Господь смиловался над ним и принял его в Царствие Свое. Но это для нас тайна; рассуждая же о том, что нам видимо, я утверждаю, что ему скорее бы быть осужденным и в когтях диавола, чем в раю. Если это так, то мы можем познать в этом великую к нам милость Господа, который, взирая не на наше заблуждение, а на чистоту веры и, несмотря на то, что мы делаем посредником Его милосердия Его же врага, которого принимаем за друга, так же внемлет нам, как если бы мы брали таким посредником действительно святого. Потому, дабы Его благодать сохранила нас в этом веселом обществе целыми и здоровыми среди настоящих бедствий, восхвалим Того, во имя которого мы собрались, вознесем Ему почитания и поручим Ему наши нужды, в твердой уверенности, что Он нас услышит. – Тут Памфило умолк.

Новелла вторая

Еврей Авраам, вследствие увещаний Джианнотто ди Чивиньи, отправляется к римскому двору и, увидя там развращенность служителей церкви, возвращается в Париж, где и становится христианином

Новелла Памфило, вызывавшая иногда смех у дам, в общем была одобрена. Ее выслушали со вниманием, и когда она была окончена, королева велела Неифиле, сидевшей рядом с Памфило, рассказать и свою новеллу, следуя установленному порядку развлечения. Неифила, отличавшаяся столько же приятностью обхождения, сколько и красотой, весело отвечала, что сделает это охотно, и начала так:

– Памфило в своем рассказе показал нам, что благость Божия не взирает на наши заблуждения, если они исходят из причин, ускользающих от нашего ведения; я же хочу своим рассказом показать, что эта благость, терпеливо перенося недостатки тех, которые должны были бы всеми своими действиями и словами свидетельствовать о ней истинно, а поступают наоборот, тем самым дает нам доказательство своей непреложности, дабы мы с тем большей твердостью духа следовали тому, во что веруем.

Мне рассказывали, любезные дамы, что в Париже жил один богатый купец и хороший человек, по прозванию Джианнотто ди Чивиньи, ведший обширную торговлю сукнами. Он был в большой дружбе с одним очень богатым евреем, по имени Авраам, также купцом и очень честным и прямым человеком. Джианнотто, зная его честность и прямоту, сильно сокрушался о том, что душа этого достойного, мудрого и хорошего человека, по недостатку веры, будет осуждена. Поэтому он принялся дружески просить его оставить заблуждения иудейской веры и обратиться к истинной христианской, которая, как он сам мог видеть, будучи святой и совершенной, постоянно преуспевает и множится, тогда как, наоборот, его религия умалется и приходит в запустение, – в чем он сам мог убедиться. Еврей отвечал, что он не знает более совершенной и святой религии, чем иудейская, и что он в ней родился, в ней намерен жить и умереть, и нет ничего, что бы могло отвратить его от этого намерения. Это, однако, не остановило Джианнотто, и через несколько дней он снова обратился к нему с подобными же речами, доказывая ему попросту, как это умеют делать купцы, по каким причинам наша религия лучше иудейской. Хотя еврей был большим знатоком иудейского закона, тем не менее, по большой ли дружбе, которую он питал к Джианнотто, или повлияли на него речи, вложенные Святым Духом в уста простого человека, только ему стали очень нравиться доводы Джианнотто, хотя, продолжая упорствовать в своей вере, он не позволял обратить себя. Как он упорствовал, так и Джианнотто не переставал убеждать его, пока, наконец, еврей, побежденный этой настойчивостью, сказал: «Хорошо, Джианнотто, ты хочешь, чтобы я сделался христианином, и я готов на это, но с тем, что сперва отправлюсь в Рим, дабы там увидеть того, кого ты называешь наместником Бога на земле, увидеть его нравы и образ жизни, а также его братьев кардиналов; если они представятся мне таковыми, что по ним и из твоих слов я убежусь в преимуществе твоей веры над моею, как это ты старался мне доказать, то я поступлю, как тебе сказал; коли нет, я как был, так и останусь евреем».

Выслушав это, Джианнотто был крайне опечален, говоря про себя: «Пропали мои труды даром, а между тем я думал употребить их с пользой, воображая, что уже обратил его. И в самом деле, если он отправится к римскому двору и насмотрится на порочную и нечестивую жизнь духовенства, то не только не сделается из еврея христианином, но если бы и стал христианином, наверно перешел бы снова в иудейство». Затем, обратясь к Аврааму, Джианнотто сказал: «Друг мой, зачем хочешь ты подвергать себя такому труду и большим издержкам, сопряженным с путешествием в Рим? Не говоря уже о том, что для такого богатого человека, как

ты, каждое путешествие, морем или сухим путем, исполнено опасностей, – уже не думаешь ли ты, что здесь не найдется никого, кто бы окрестил тебя? Если у тебя есть сомнения по вопросу о вере, которую я тебе разъяснял, где, как не здесь, найдешь ты больших ученых и более мудрых людей, которые растолкуют тебе, что пожелаешь, или то, о чем спросишь? Вот почему, по моему мнению, это путешествие излишне. Представь себе, что там прелаты такие же, каких ты мог видеть и здесь, и даже лучше, потому что ближе к верховному пастырю. Итак, по моему совету, побереги этот труд до другого раза, для какого-нибудь хождения к святым местам; тогда, быть может, и я буду тебе спутником». На это еврей отвечал: «Я верю, Джианнотто, что все так, как ты говоришь, но, сводя многое в одно слово, скажу тебе (если ты хочешь, чтобы я сделал то, о чем ты меня так просил), что я окончательно решил ехать; иначе я не сделаю ничего». Видя его решимость, Джианнотто сказал: «Поезжай с Богом», а в то же время подумал про себя, что, если он увидит римский двор, никогда не сделается христианином. На этом он успокоился, так как теперь ему делать было нечего.

Еврей сел на коня и поспешно отправился ко двору в Рим. Прибыв туда, он был с почетом принят своими единоверцами евреями и жил там, не говоря никому о цели своего путешествия, осмотрительно наблюдая образ жизни папы, кардиналов и других прелатов и всех придворных. Из того, что он заметил сам, будучи человеком очень наблюдательным, и того, что слышал от других, он заключил, что все они вообще прискорбно грешат сладострастием, не только в его естественном виде, но и в виде содомии, не стесняясь ни укорами совести, ни стыдом, почему для получения милостей влияние куртизанок и мальчиков было немалой силой. К тому же он ясно увидел, что все они были обжоры, опивалы, пьяницы, наподобие животных, служившие не только сладострастию, но и чреву, более чем чему-либо другому. Всматриваясь ближе, он убедился, что все они были так стяжательны и жадны до денег, что продавали и покупали человеческую, даже христианскую кровь и божественные предметы, какие бы ни были, относились ли они до таинства, или до церковных должностей. Всем этим они пуще торговали, и было на то больше маклеров, чем в Париже для торговли сукнами или чем иным. Открытой симонии они давали название заступничества, объединение называли подкреплением, как будто Богу не известны, не скажу, значения слов, но намерения развращенных умов, и его можно, подобно людям, обмануть названием вещей. Все это вместе со многим другим, о чем следует умолчать, сильно не нравилось еврею, как человеку умеренному и скромному, и потому, полагая, что он достаточно насмотрелся, он решил возвратиться в Париж, что и сделал.

Едва Джианнотто узнал, что он приехал, он пошел к нему, ни на что столь мало не рассчитывая, как на то, чтоб он стал христианином. Они радостно приветствовали друг друга, а когда еврей отдохнул несколько дней, Джианнотто спросил его, какого он мнения о святом отце, кардиналах и других придворных. На это еврей тотчас же ответил: «Худого я мнения, пошли им Бог всякого худа! Говорю тебе так потому, что, если мои наблюдения верны, я не видел там ни в одном клирике ни святости, ни благочестия, ни добрых дел, ни образца для жизни или чего другого, а любострастие, обжорство, любостяжание, обман, зависть, гордыня и тому подобные и худшие пороки (если может быть что-либо хуже этого) показались мне в такой чести у всех, что Рим представился мне местом скорее дьявольских, чем Божьих начинаний. Насколько я понимаю, ваш пастырь, а следовательно, и все остальные со всяким тщанием, измышлением и ухищрением стараются обратить в ничто и изгнать из мира христианскую религию, тогда как они должны были бы быть ее основой и опорой. И так как я вижу, что выходит не то, к чему они стремятся, а что ваша религия непрестанно ширится, являясь все в большем блеске и славе, то мне становится ясно, что Дух Святой составляет ее основу и опору, как религии более истинной и святой, чем всякая другая. А потому я, твердо упорствовавший твоим увещаниям и не желавший сделаться христианином, теперь говорю откровенно, что ничто не остановит меня от принятия христианства. Итак, идем в церковь и там, следуя обрядам вашей святой веры, окрести меня». Джианнотто, ожидавший совершенно про-

тивоположной развязки, услышав эти слова, был так доволен, как никогда. Отправясь с ним в собор Парижской Богоматери, он попросил тамошних клириков окрестить Авраама. Услышав требование, они тотчас же это и сделали. Жианнотто был его восприемником и дал ему имя Джованни. Впоследствии он поручил знающим людям наставить его вполне в нашей вере, которую он скоро усвоил, оказавшись потом человеком добрым, достойным и святой жизни.

Новелла третья

Еврей Мельхиседек рассказом о трех перстнях устраняет большую опасность, уготованную ему Саладином

Когда Неифила умолкла, окончив новеллу, встреченную общей похвалою, по желанию королевы так начала рассказывать Филомена: – Рассказ Неифилы привел мне на память опасный случай, приключившийся с одним евреем; а так как о Боге и об истине нашей веры уже было прекрасно говорено и не покажется неприличным, если мы снизойдем теперь к человеческим событиям и действиям, я расскажу вам новеллу, выслушав которую вы станете осторожнее в ответах на вопросы, которые могли бы быть обращены к вам. Вам надо знать, милые подруги, что как глупость часто низводит людей из счастливого в страшно бедственное положение, так ум извлекает мудрого из величайших опасностей и доставляет ему большое и безопасное успокоение. Что неразумие приводит от благосостояния к беде – это верно, как то видно из многих примеров, о которых мы не намерены рассказывать в настоящее время, имея в виду, что ежедневно их объявляются тысячи. А что ум бывает утешением, это я вам покажу, согласно обещанию, в коротком рассказе.

Саладин, доблесть которого не только сделала его из человека ничтожного султаном Вавилона, но и доставила ему многие победы над сарацинскими и христианскими королями, растратил в различных войнах и больших расходах свою казну; а так как по случайному обстоятельству ему оказалась нужда в большой сумме денег и он недоумевал, где ему добыть ее так скоро, как ему понадобилось, ему пришел на память богатый еврей, по имени Мельхиседек, отдававший деньги в рост в Александрии. У него, думалось ему, было бы чем помочь ему, если бы он захотел; но он был скуп, по своей воле ничего бы не сделал, а прибегнуть к силе Саладин не хотел. Побуждаемый необходимостью, весь отдавшись мысли, какой бы найти способ, чтобы еврей помог ему, он замыслил учинить ему насилие, прикрашенное неким видом разумности. Призвав его и приняв дружески, он посадил его рядом с собою и затем сказал: «Почтенный муж, я слышал от многих лиц, что ты очень мудр и глубок в божественных вопросах, почему я охотно желал бы узнать от тебя, какую из трех вер ты считаешь истинной: иудейскую, сарацинскую или христианскую?» Иудей, в самом деле человек мудрый, ясно догадался, что Саладин ищет, как бы уловить его на слове, чтобы привязаться к нему, и размыслил, что ему нельзя будет превознести ни одну из трех религий за счет других так, чтобы Саладин все же не добился своей цели. И так как ему представлялась необходимость в таком именно ответе, с которым он не мог бы попасться, он наострил свой ум, быстро надумал, что ему надлежало сказать, и сказал: «Государь мой, вопрос, который вы мне сделали, прекрасен, а чтобы объяснить вам, что я о нем думаю, мне придется рассказать вам небольшую повесть, которую и послушайте. Коли я не ошибаюсь (а, помнится, я часто о том слыхивал), жил когда-то именитый и богатый человек, у которого в казне, в числе других дорогих вещей, был чудеснейший драгоценный перстень. Желая почтить его за его качества и красоту и навсегда оставить его в своем потомстве, он решил, чтобы тот из его сыновей, у которого обрелся бы перстень, как переданный ему им самим, почитался его наследником и всеми другими был почитаем и признаваем за наибольшего. Тот, кому достался перстень, соблюдал тот же порядок относительно своих потомков, поступив так же, как и его предшественник; в короткое время этот перстень перешел из рук в руки ко многим наследникам и, наконец, попал в руки человека, у которого было трое прекрасных, доблестных сыновей, всецело послушных своему отцу, почему он и любил их всех трех одинаково. Юноши знали обычай, связанный с перстнем, и каждый из них, желая быть предпочтенным другим, упраскивал, как умел лучше, отца, уже престарелого, чтобы он, умирая, оставил ему перстень. Почтенный человек, одинаково их всех любивший и сам недоуме-

вавший, которого ему выбрать, кому бы завещать кольцо, обещанное каждому из них, замыслил удовлетворить всех троих: тайно велел одному хорошему мастеру изготовить два других перстня, столь похожих на первый, что сам он, заказавший их, едва мог признать, какой из них настоящий. Умирая, он всем сыновьям тайно дал по перстню. По смерти отца каждый из них заявил притязание на наследство и почет, и когда один отрицал на то право другого, каждый предъявил свой перстень во свидетельство того, что он поступает право. Когда все перстни оказались столь схожими один с другим, что нельзя было признать, какой из них подлинный, вопрос о том, кто из них настоящий наследник отцу, остался открытым, открыт и теперь. То же скажу я, государь мой, и о трех законах, которые Бог-Отец дал трем народам и по поводу которых вы поставили вопрос: каждый народ полагает, что он владеет наследством и истинным законом, веления которого он держит и исполняет; но который из них им владеет – это такой же вопрос, как и о трех перстнях». Саладин понял, что еврей отлично сумел вывернуться из петли, которую он расставил у его ног, и потому решился открыть ему свои нужды и посмотреть, не захочет ли он услужить ему. Так он и поступил, объяснив ему, что он держал против него на уме, если бы он не ответил ему столь умно, как то сделал. Еврей с готовностью услужил Саладину такой суммой, какая требовалась, а Саладин впоследствии возвратил ее сполна, да, кроме того, дал ему великие дары и всегда держал с ним дружбу, доставив ему при себе видное и почетное положение.

Новелла четвертая

Один монах, впав в грех, достойный тяжелой кары, искусно уличив своего аббата в таком же проступке, избегает наказания

Уже Филомена умолкла, кончив свой рассказ, когда сидевший возле нее Дионео, не выждав особого приказания королевы, ибо знал, что по заведенному порядку ему приходится говорить, начал сказывать так: – Любезные дамы, если я точно понял ваше общее намерение, то мы сошлись сюда затем, чтобы, рассказывая, забавлять друг друга. Поэтому я полагаю, что всякому, лишь бы он не шел наперекор этому правилу, дозволено (а что это так, нам сказала недавно королева) рассказать такую новеллу, которая, по его мнению, наиболее принесет удовольствия. Мы слышали, как Авраам спас свою душу благодаря благим советам Джианногто ди Чивиньи, как Мельхиседек своею находчивостью уберег свое богатство от ловушки Саладина; поэтому, не ожидая укоров с вашей стороны, я намерен кратко рассказать, какую хитростью один монах избавился от тяжелого наказания.

Был в Луниджьяне, области недалеко отсюда отстоящей, монастырь, более богатый святостью и числом монахов, чем теперь; в числе прочих был там молодой монах, силу и свежесть которого не могли ослабить ни посты, ни бдения. Однажды в полдень, когда все остальные монахи спали, а он один бродил вокруг своей церкви, находившейся в очень уединенном месте, он случайно увидел очень красивую девушку, быть может, дочь какого-нибудь крестьянина, которая ходила по полям, собирая травы. Едва увидел он ее, как им страшно овладело плотское вожделение; поэтому, приблизившись к ней, он вступил с нею в беседу, и так пошло дело от одного к другому, что он, стакнувшись с нею, повел ее в свою келью, так что никто того и не заметил. Пока, увлеченный слишком сильным вожделением, он баловался с нею, не особенно остерегаясь, случилось, что аббат, восстав от сна и проходя тихо мимо кельи, услышал шум, который они вдвоем производили. Чтобы лучше различить голоса, он осторожно подошел к двери кельи с целью прислушаться, распознал ясно, что внутри была женщина, и у него явилось искушение – велеть отворить себе; но затем он намыслил другой способ действия и, вернувшись в свою комнату, стал поджидать, пока монах выйдет. Монах же, хотя и отдавался величайшему наслаждению и удовольствию с той женщиной, не оставлял тем не менее и подозрений, и так как ему послышалось шарканье ног в dormitorio, он, приложив глаз к небольшой щели, увидел как нельзя более ясно, что аббат подслушивает, и отлично понял, что он мог дознаться о присутствии девушки в его келье. Зная, что за это ему воспоследует большое наказание, он сильно опечалился; тем не менее ничего не показав о своем горе девушке, он быстро сообразил многие средства, изыскивая, не найдется ли какое-нибудь для него спасительное; и пришла ему на ум необычайная хитрость, которая и привела прямо к задуманной им цели. Сделав вид, что он уже достаточно пробыл с той девушкой, он сказал ей: «Я пойду посмотрю, как тебе выйти отсюда незамеченной; потому сиди смирно, пока я не вернусь». Выйдя из кельи и заперев ее на ключ, он прямо отправился в покой аббата и, вручив ему ключ, как то делали, уходя, все монахи, с покойным видом сказал: «Мессере, сегодня утром я не успел велеть доставить все дрова, какие распорядился нарубить; потому, с вашего позволения, я пойду в лес и прикажу их привезти». Аббат, желая в точности разведать о проступке монаха и полагая, что он не догадался, что был им усмотрен, обрадовался такому случаю, охотно принял ключ и дал разрешение. Когда он увидел, что монах ушел, он принялся размышлять, как ему лучше поступить: отпереть ли келью в присутствии всей братии и обнаружить проступок, дабы потом у них не было повода роптать на него, когда он накажет монаха; либо наперед узнать от девушки, как было дело. Сообразив сам с собою, что то могла быть такая женщина, либо дочь такого человека, которой он не желал бы учинить стыда, показав ее всем монахам, он решился наперед

посмотреть, кто она, а затем и решиться на что-нибудь. Тихо направившись к келье, он отпер ее и, войдя, запер дверь. Увидев аббата, девушка, вся растерянная, боясь посрамления, пустилась в слезы, а отец аббат, окинув ее глазами и увидев, что она красива и молода, хотя и был стар, внезапно ощутив не меньше позывы плоти, чем молодой монах, начал так про себя рассуждать: «Почему бы мне не отведать удовольствия, когда я могу добыть его? А неприятности и досады ведь всегда наготове, лишь бы захотеть. Она девушка красивая, и что она здесь, никто в мире того не ведает; если мне удастся уговорить ее послужить моей утехе, я недоумеваю, почему бы мне того не сделать? Кто об этом узнает? Никто не узнает и никогда, а скрытый грех наполовину прощен. Такого случая, быть может, никогда не представится, и я полагаю великую мудрость в том, чтобы воспользоваться благом, коли Господь пошлет его кому-нибудь». Так говоря и совершенно изменив намерению, с каким отправился, он приблизился к девушке, принялся тихо утешать ее, прося не плакать; так, от слова к слову, он дошел до того, что открыл ей свои желания. Девушка была не из железа и не из алмаза и очень легко склонилась на желание аббата. Обняв и поцеловав ее много раз, он взобрался на постель монаха и, взяв во внимание почтенный вес своего достоинства и юный возраст девушки, а может быть, боясь повредить ей излишней тяжестью, не возлег на нее, а возложил на себя и долгое время с нею забавлялся.

Монах, будто бы ушедший в лес, скрылся в dormitorio и, как только увидел, что аббат один вошел в келью, совершенно успокоился, полагая, что его расчет будет иметь свое действие; увидев, что аббат заперся, он счел, что действие будет вернейшее. Выйдя из того места, где он обретался, он тихо подошел к щели, через которую слышал и видел все, что говорил либо делал аббат. Когда аббату показалось, что он достаточно пробыл с девушкой, он запер ее в келье и вернулся в свою комнату; спустя некоторое время, услышав шаги монаха и полагая, что он вернулся из леса, он решил сильно пожурить его и приказать заключить, дабы одному владеть доставшейся добычей. Велев позвать его, он строго и с грозным видом побранил его и распорядился, чтобы его заперли в тюрьму. Монах тотчас же возразил: «Мессере, я еще недавно состою в ордене св. Бенедикта и не мог научиться всем его особенностям, а вы еще не успели наставить меня, что монахам следует подлежать женщинам точно так же, как постам и бдениям. Теперь, когда вы это мне показали, я обещаю вам, коли вы простите мне на этот раз, никогда более не грешить этим, а всегда делать так, как я видел, делали вы». Аббат, человек догадливый, тотчас постиг, что монах не только более смыслит в деле, но и видел все, что он делал; потому, угрызенный сознанием собственного проступка, он устыдился учинить монаху то, что сам, подобно ему, заслужил. Простив ему и наказав молчать о виденном, вместе с ним осторожно вывел девушку, и, надо полагать, они не раз приводили ее снова.

Новелла пятая

Маркиза Монферратская обедом, приготовленным из кур, и несколькими милыми словами подавляет безумную к ней страсть французского короля

Новелла, рассказанная Дионео, на первых порах слегка уязвила стыдом сердца слушавших дам, знаком чего был стыдливый румянец, показавшийся на их лицах, затем, переглядываясь между собою и едва удерживаясь от смеха, они, хихикая, дослушали рассказ. Когда он пришел к концу и они укорили рассказчика несколькими милыми словами, желая дать ему понять, что подобные новеллы не следует рассказывать дамам, королева, обратившись к Фьямметте, сидевшей с ней рядом на траве, приказала ей продолжать очередь. Грациозно и с веселым видом Фьямметта начала так: – Так как мне пришлось по нраву, что нашими новеллами мы принялись доказывать, какова сила находчивых, быстрых ответов, и по той же причине, что если в мужчине большим благоразумием является всегда искать любви женщины более родовитой, чем он, то в женщине величайшей осмотрительностью – уметь уберечься от любви к мужчине выше ее по положению: мне пришло в голову, прекрасные мои дамы, показать вам новеллой, которую мне приходится рассказать, как и какими поступками и словами одна благородная дама и сама сумела от одного уберечься и другое устранить.

Маркиз Монферратский, человек высокой доблести и гонфалоньер церкви, отправился за море в общем вооруженном хождении христиан. Когда однажды зашла речь о его храбрости при дворе короля Филиппа Кривого, также собиравшегося из Франции в тот же поход, какой-то рыцарь сказал, что под звездным сводом не найти другой такой пары, как маркиз и его супруга, потому что насколько между рыцарями маркиз был славен всякою доблестью, настолько его жена была красивейшею и достойнейшею между женщинами всего света. Слова эти так глубоко запали в душу французского короля, что, никогда не видав ее, он внезапно воспылал к ней любовью и решил сесть на корабль для похода, в который снаряжался только в Генуе, дабы, отправившись туда сухим путем, иметь благовидный предлог посетить маркизу, рассчитывая, что, так как маркиза дома не было, ему представится возможность исполнить свое желание. И как задумал, так и сделал, потому что, отправив всех вперед, он с небольшой свитой дворян выступил в путь и, приблизившись ко владениям маркиза, за день послал сказать его жене, чтобы она ждала его на следующее утро к обеду. Маркиза, умная и догадливая, велела любезно ответить, что эта милость для нее выше всех других и что король будет желанным гостем. Затем она раздумалась, что бы это могло означать, что такой король готовится посетить ее в отсутствие ее мужа; и она не ошиблась в предположении, что его привела к ней молва об ее красоте. Тем не менее, как умелая женщина, она решила принять его с честью и, велев позвать оставшихся дома вельможных людей, с их совета распорядилась приготовить все нужное; но относительно обеда и припасов она пожелала озаботиться сама: приказав тотчас же собрать всех кур, какие только нашлись в окрестности, она из них одних заказала своим поварам кушанья для королевского стола. И вот король явился в назначенный день и был принят дамой с большим торжеством и почетом. Когда он увидел ее, она показалась ему гораздо более красивой, достойной и учливой, чем он представлял ее себе со слов рыцаря, и он сильно дивовался на нее и хвалил, тем более возгораясь в своих желаниях, чем более убеждался, что маркиза превышала его прежнее представление о ней. Когда он немного отдохнул в покоях, убранных всем, что подобало для принятия такого, как он, короля, и настал час обеда, король и маркиза уселись за одним столом, а прочие были чествуемы, согласно своему званию, за другими столами. Многочисленные блюда, поочередно подносимые, превосходные, драгоценные вина приносили великую утеху королю, с удовольствием поглядывавшему порой на пре-

лестную маркизу. Тем не менее, когда одно блюдо стало являться за другим, король пришел в некое изумление, распознав, что хотя кушанья были и разные, но все изготовлены не из чего другого, как из кур. Королю хорошо известно было, что местность, где он находился, должна была изобиловать разной дичью и что, наперед объявив даме о своем прибытии, он тем самым дал ей время и срок для охоты; тем не менее, хотя и сильно удивленный, он пожелал объясниться с нею только по поводу кур; с веселым видом обратясь к маркизе, он сказал: «Разве в этой стране выводятся одни куры без петуха?» Маркиза отлично уразумела вопрос, и так как ей показалось, что сам Господь Бог послал ей удобный случай выразить свои помышления, она отвечала: «Нет, государь мой, но здешние женщины, хотя и несколько отличны от других одеждой и почетом, созданы так же, как и в других местах». Услышав эти слова, король хорошо понял повод к обеду из кур и тайный смысл речей и убедился, что с такой женщиной нечего тратить слов и нет места для насилия и что как сам он опрометчиво вспылал к ней, так поступит мудро и к своей чести, потушив не к добру разгоревшееся пламя. Не продолжая шуточного разговора из боязни ответов маркизы, он отобедал, оставив всякую надежду; когда обед кончился, он, дабы поспешным отъездом прикрыть нечестную цель своего посещения, поблагодарил ее за оказанные ему почести и, поручив ее Божью покровительству, отправился в Геную.

Новелла шестая

Некто уличает метким словом злостное лицемерие монахов

Когда все одобрили добродетель маркизы и милый урок, данный ею французскому королю, Емилия, сидевшая рядом с Фьямметтой, по желанию своей королевы, смело начала рассказ: – И я также не умолчу, как один почтенный мирянин уязвил скупого монаха словом столь же потешным, как и достойным похвалы.

Жил недавно тому назад, милые девушки, в нашем городе некий минорит, инквизитор нечестивой ереси, который, хотя и старался, как все они делают, казаться святым и рьяным любителем христианской веры, в то же время был не менее хорошим исследователем людей с туго набитым кошельком, чем тех, кто страдал умалением веры. При этой его ревности он случайно попал на одного порядочного человека, гораздо более богатого деньгами, чем умом, у которого, не по недостатку веры, а, говоря попросту, потому, вероятно, что он был возбужден вином и избытком веселья, сорвалось однажды в своем кругу слово, будто у него такое хорошее вино, что от него отведал бы и Христос. Когда о том донесли инквизитору, он, узнав, что у него были большие поместья и тугой кошелек, *cum gladiis et fustibus* и с великим спехом начал против него строжайший иск, ожидая от него не умаления неверия в обвиняемом, а наполнения собственных рук флоринами, как то и случилось. Вызвав его, он спросил, правда ли то, что о нем сказывают. Простак отвечал, что правда, и сказал, как было дело. На это святейший инквизитор, особый почитатель св. Иоанна Златоуста, сказал: «Итак, ты сделал Христа пьяницей, любителем добрых вин, точно он Чинчильоне или кто-нибудь из вашей братии, пьяниц и завсегдатаев таверн? А теперь ты ведешь смиренные речи, желая дать понять, что это дело пустое. Не таково оно, как тебе кажется: ты заслужил за это костер, коли мы захотим поступить с тобой, как обязаны». Такие и многие другие речи он вел с ним с угрожающим видом, как будто тот был сам Эпикур, отрицающий бессмертие души. В короткое время он так настраивал его, что простак поручил неким посредникам умастить его руки знатным количеством мази св. Иоанна Златоуста (сильно помогающей против заразного недуга любостяжания клириков и особенно миноритов, которым не дозволено прикасаться к деньгам), дабы он поступил с ним по милосердию. Эту мазь, как вполне действительную, хотя Гален и не говорит о ней ни в одном из своих медицинских сочинений, он пустил в дело так и в таком обилии, что огонь, которым ему пригрозили, милостиво сменился знаком креста, а дабы флаг был красивее – точно кающемуся предстояло идти в крестовый поход, – положили ему желтый крест на черном фоне. Кроме того, получив деньги, инквизитор задержал его на несколько дней при себе, положив ему в виде эпитимии каждое утро быть у обедни в Санта Кроче и представляться ему в обеденный час; в остальную часть дня ему предоставлено было делать, что угодно. Все это он исполнял прилежно, когда однажды утром услышал за обедней Евангелие, из которого пелись следующие слова: «Вам воздастся сторицею, и вы унаследуете жизнь вечную». Точно удержав их в памяти и явившись, согласно приказанию, перед лицом инквизитора в час обеда, он застал его за столом. Инквизитор спросил его, был ли он у обедни этим утром. «Да, мессере», – поспешно ответил он. На это инквизитор сказал: «Не услышал ли ты при этом чего-нибудь, что вызвало в тебе сомнение и о чем ты желаешь спросить?» – «Поистине, – отвечал простак, – ни в чем, что я слышал, я не сомневаюсь, напротив, все твердо почитаю истинным. Слышал я, правда, кое-что, что возбудило во мне и еще возбуждает сильное сожаление к вам и вашей братии, монахам, когда подумаю я о несчастном положении, в котором вы обрететесь на том свете». Сказал тогда инквизитор: «Что это за слово, что побудило тебя к такому о нас сожалению?» Простак отвечал: «Мессере, то было слово Евангелия, говорящее: „Воздастся вам сторицею“. Инквизитор сказал: „Воистину так, но почему же эти слова расстроили тебя?“ – „Я объясню

вам это, мессере, – отвечал простак, – с той поры, как я стал ходить сюда, я видел, как каждый день подают отсюда множеству бедного люда чан, а иногда и два большущих чана с похлебкой, которую отнимают у вас и у братии этого монастыря как лишнюю; потому, если на том свете за каждый чан вам воздается сторицею, у вас похлебки будет столько, что вам всем придется в ней захлебнуться“. Хотя все другие, бывшие за столом у инквизитора, рассмеялись, инквизитор, почувствовав, что укол обращен против их похлебочного лицемерия, совсем смутился, и если бы не стыд за вчиненное простаку дело, он вчинил бы ему другое за то, что потешной остротой он уколол и его и других тунеядцев. С досады он разрешил ему делать, что заблагорассудится, и больше к нему не являться.

Новелла седьмая

Бергамино своим рассказом о Примасе и аббате Ключни ловко уличает необычную скупость Кане делла Скала

Забавный тон Емилии и ее новелла заставили и королеву и всех остальных смеяться, выхваливая небывалую выходку крестоносца. Когда смех прекратился и все успокоились, Филострато, за которым была очередь рассказывать, начал так: – Хорошо, достойные дамы, попасть в цель, которая не движется, но граничит почти с чудом, если что-нибудь необычайное покажется внезапно и стрелок внезапно же попадет в него. Греховная и грязная жизнь клириков, являющаяся во многих случаях почти точным показателем порочности, легко дает повод говорить о ней, укорять ее и порицать всякому, кто того желает; потому, хотя и хорошо сделал тот добрый человек, уличив инквизитора в лицемерном милосердии монахов, отдающих беднякам, что подобало бы отдать свиньям или выбросить, – более похвалы заслуживает, по моему мнению, тот, о котором я намерен рассказать, будучи наведен на то предыдущей новеллой: мессера Кане делла Скала, щедрого государя, он уязвил за внезапно и необычно проявившуюся в нем скупость, рассказав ему новеллу и в другом лице изобразив, что хотел сказать о себе и о нем. Рассказ следующий.

Как по всему свету гласит славная молва, мессер Кане делла Скала, которому счастье благоприятствовало во многом, был одним из самых замечательных и щедрых властителей, какие только известны были в Италии от времен императора Фридриха II и по сию пору. Затеяв устроить в Вероне знатное, чудесное празднество, к которому явилось бы со всех сторон множество народу, особенно потешных людей всякого рода, он внезапно, какая бы тому ни была причина, раздумал и, наградив некоторых из прибывших, отпустил их. Один только Бергамино, находчивый и красноречивый рассказчик, каким не представит его себе никто, кто его не слышал, не будучи ни награжден, ни отпущен, остался в надежде, что это случилось, быть может, не без будущей для него выгоды. Но у Кане засела мысль, что дать ему что-либо – хуже потратить, чем если бы бросить в огонь, и он не говорил и не поручал передать ему о том ни слова. По прошествии нескольких дней, когда Бергамино увидел, что его не зовут и ничего не требуют от его ремесла и что, кроме того, он со своими конями и слугами проживается в гостинице, его стала забирать меланхолия; а он все еще выжидал, полагая, что будет не ладно, если он уедет. С собою он привез три прекрасных, дорогих костюма, подаренных ему другими синьорами, чтобы с почетом предстать на праздник, но так как хозяин требовал платы, он сначала отдал ему один костюм, затем, оставшись более долгое время, второй и принялся уже питаться на счет третьего, решив остаться и посмотреть, на сколько его хватит, а там и уехать. И вот, когда он уже начал питаться на счет третьего, случилось однажды, что, когда мессер Кане сидел за обедом, Бергамино предстал перед ним с печальным видом. Увидел его мессер Кане и сказал, более затем, чтоб помучить его, чем потешиться какой-нибудь его прибауткой: «Что с тобой, Бергамино? Ты так печален; расскажи нам что-нибудь». Тогда Бергамино, недолго думая, но словно долго о том поразмыслив, тотчас рассказал, чтобы поправить свои дела, следующую новеллу.

– Государь мой, вам должно быть известно, что Примас был большой знаток латыни и, паче всякого другого, замечательный и находчивый стихотворец, и эти качества сделали его столь знаменитым и славным, что если лично его и не везде знали, не было почти никого, кто бы не знал по имени и молве, кто такой Примас. Случилось однажды, что он был в Париже в нищем виде, в каком большею частью обретался, потому что его доблести мало ценились людьми можными, и здесь услышал, как рассказывали об аббате Ключни, которого считают самым богатым, по доходам, прелатом, какие только есть в Божией церкви, за исключением

папы; слышал он дивные вещи о его щедрости и что при его дворе постоянный праздник и никому, кто бы ни явился в его местопребывание, не было запрета есть и пить, лишь бы попросился, когда аббат за столом. Услышав о том, Примас, любивший водиться с именитыми людьми и синьорами, решился пойти и убедиться воочию в щедрости этого аббата, и спросил, далеко ли он живет от Парижа. Ему отвечали, что милях в шести, в своем поместье, и Примас рассчитал, что, выйдя рано утром, он может прибыть туда к обеденному часу. Попросив указать себе дорогу и не найдя никого, кто бы направлялся туда же, он побоялся, как бы ему, на его несчастье, не сбиться с пути и не зайти в такое место, где не так-то легко будет найти, что поесть; вот почему, на случай, если бы это приключилось и дабы ему не терпеть недостатка в пище, он решил захватить с собою три хлеба, полагая, что воды (хотя она ему и не особенно была по вкусу) он найдет всюду. Положив хлеба за пазуху, он отправился в путь, и так удачно, что ко времени обеда пришел к месту, где находился аббат. Войдя, он начал озираться кругом и, увидев множество накрытых столов и большие приготовления на кухне и все другое, потребное для обеда, сказал про себя: в самом деле этот аббат так щедр, как о нем говорят. Когда он некоторое время разглядывал кругом, сенешаль аббата велел подать воды для омовения рук, так как настал час обеда, и когда подали воду, рассадил всех за столом. Случилось так, что Примаса посадили как раз против двери, из которой аббат должен был выйти в столовую. Был при его дворе такой обычай, что на стол никогда не подавалось ни вина, ни хлеба и никакой еды и питья, пока не сел аббат. Когда сенешаль накрыл на стол, велел доложить аббату, что ждет его приказа, а обед готов. Аббат велел открыть покой, откуда был выход в залу; проходя, посмотрел вперед себя, и первый, случайно попавшийся ему на глаза, был Примас, плохо одетый и по виду ему незнакомый. Увидел его, и тотчас же взбрела ему на ум нехорошая мысль, никогда дотоле не приходившая ему: кого только я кормлю от моего достатка! Вернувшись к себе, он велел запереть дверь и спросил бывших с ним, не знает ли кто того бродягу, что сидит за столом прямо против двери его комнаты? Все отвечали, что не знают. Примаса с прогулки и непривычки поститься разбирал голод; подождав немного и увидя, что аббат не выходит, он вынул из-за пазухи один из трех хлебов, которые принес с собою, и принялся есть. Обождя некоторое время, аббат приказал одному из своих приближенных посмотреть, не ушел ли Примас. Тот отвечал: «Нет, мессере, напротив, он ест хлеб, и это доказывает, что он принес его с собою». – «Пусть ест свое, коли есть», – сказал аббат, – а нашего сегодня он есть не будет». Ему хотелось, чтобы Примас сам собою ушел, ибо ему казалось неприличным спровадить его. Когда съеден был один хлеб, а аббат не являлся, Примас принялся за второй; и это также доложено было аббату, велевшему поглядеть, не убрался ли он. Наконец, когда аббат все еще не выходил, Примас, съев второй хлеб, начал есть и третий. Когда о том сказали аббату, он начал так размышлять, говоря про себя: «Что это за небывальщина пришла мне сегодня в голову? Что за скупость, что за озлобление – и к кому же? Сколько лет кормил я с моего стола всех желающих есть, невзирая на то, дворянин ли то был или крестьянин, бедный или богатый, именитый ли то был человек или обманщик; собственными глазами видел я, как мое добро пожирали бесчисленные бродяги, и никогда мне в голову не приходила мысль, которую я питаю по отношению к этому человеку. Наверно, скарденность овладела мною не к простому человеку: в том, кто мне представляется бродягой, должно быть нечто особенное, если мой дух оказался столь неподатливым к чествованию его». Сказав это, аббат пожелал узнать, кто он такой; узнав, что это Примас, пришедший поглядеть на его щедрость, о которой наслышался, и издавна известный аббату по слухам за достойного человека, он устыдился и, желая загладить вину, принялся ублажать его на разные лады. После обеда велел его богато одеть, как приличествало достоинству Примаса, и, снабдив его деньгами и конем, предоставил ему выбор: остаться у него или уехать.

Довольный этим, Примас воздал ему отменную благодарность и верхом вернулся в Париж, откуда пришел пешком.

Мессер Кане, как человек разумный, отлично понял, без всяких разъяснений, что разумел Бергамино, и, улыбаясь, сказал: «Бергамино, ты очень ловко показал свою обиду и искусство и мою скарედность – и то, чего ты от меня желаешь; поистине никогда скупость не овладевала мною, как только теперь, по отношению к тебе; но я прогоню ее той самой палкой, которую ты изобрел». И, велев уплатить хозяину Бергамино, одев его в свое богатое платье, снабдив деньгами и конем, предоставил на этот раз на его произвол – уехать или остаться при нем.

Новелла восьмая

Гвильельмо Борсьере в тонких выражениях укоряет в скупости мессера Эрмино де Гримальди

Рядом с Филострато сидела Лауретта; выслушав похвалы, которые расточали находчивости Бергамино, и зная, что ей придется рассказать нечто, она, не ожидая приказаний, так начала свой рассказ: – Предыдущая новелла побуждает меня, дорогие подруги, рассказать, каким образом один умелый потешник подобным же образом и небезуспешно укорил в скупости богатейшего купца; и хотя эта новелла по своему содержанию и походит на прошлую, она будет вам не менее приятна, коли вы возьмете в расчет, какое в ее развязке получилось благо.

Итак, жил в Генуе много времени тому назад родовитый человек по имени мессер Эрмино де Гримальди, далеко превосходивший, как все полагали, богатством в громадных имениях и деньгах богатейших граждан, каких только знали в Италии. И как богатством он превосходил всех итальянских богачей, так, и через меру, скупостью и скарденностью всех скупцов и скряг на свете, ибо не только не открывал кошелька, чтобы учествовать других, но и сам, против обыкновения генуэзцев, привыкших богато рядиться, претерпевал, лишь бы только не тратиться, большие лишения во всем, равно как в еде и питье. Вот почему, и по заслугам, его фамилия – де Гримальди – предана была забвению, и все звали его мессер Эрмино Скарета. В то время как, ничего не тратя, он преумножал свое достояние, случилось, что в Геную прибыл умелый потешный человек, благовоспитанный и красноречивый, по имени Гвильельмо Борсьере, не похожий на нынешних, которых, к стыду людей развращенных и презренных, желающих в наше время зваться и считаться благородными, скорее следовало бы прозвать ослами, воспитанными среди грязной и порочной черни, а не при дворе. Тогда как в те времена ремеслом и делом потешных людей было улаживать мировые в случае распрей и недовольств, возникавших между господами, заключать брачные и родственные союзы и дружбу, развешивать прекрасными, игривыми речами усталых духом, потешать дворы и резкими упреками, точно отцы, укорять порочных в их недостатках – и все это за малое вознаграждение: теперь они ухитряются убивать свое время, перенося злые речи от одного к другому, сея плевелы, рассказывая мерзости и непристойности, и, что хуже, совершая то и другое в присутствии людей, возводя друг на друга все дурное, постыдное и мерзкое, действительное или нет; и тот из них более люб, того более почитают и поощряют большими наградами жалкие и безнравственные синьоры, кто говорит и действует гнуснее других: достойный порицания стыд настоящего времени – ясное доказательство того, что добродетели, удалившись отсюда, оставили бедное человечество в подонках пороков.

Возвращаясь к тому, с чего я начала и от чего удалило меня немного, против ожидания, справедливое негодование, скажу, что упомянутого Гвильельмо встретили с почетом и охотно принимали именитые люди Генуи. Пробыв несколько дней в городе и услышав многое о скупости и скряжничестве мессера Эрмино, он возымел желание увидеть его. Мессер Эрмино слышал, что Гвильельмо Борсьере – человек достойный, и так как в нем, несмотря на его скупость, была искорка благородства, принял его с дружественными речами и веселым видом, вступил с ним во многие и разнообразные беседы и, разговаривая, повел его и бывших с ним генуэзцев в новый красивый дом, который построил себе, и, показав его, сказал: «Мессер Гвильельмо, вы видели и слышали многое, не укажете ли вы мне что-нибудь, нигде не виданное, что бы я мог велеть написать в зале этого дома?» Услышав эти неподходящие речи, Гвильельмо сказал: «Мессер, не думаю, чтобы я сумел указать вам на вещь невиданную – разве на чох или что-либо подобное; но коли вам угодно, я укажу вам на одно, чего, полагаю, вы никогда не видали». Мессер Эрмино сказал: «Прошу вас, скажите, что это такое?» Он не ожидал, что тот

ответит, как ответил. На это Гвильельмо внезапно сказал: «Велите написать: „Благородство“». Когда мессер Эрмино услышал эти слова, им внезапно овладел стыд настолько сильный, что он изменил его настроение духа в почти противоположное тому, каким оно было дотоле. «Мессер Гвильельмо, – сказал он, – я велю написать его так, что ни вы и никто другой никогда не будете иметь основания сказать мне, что я не видел и не знавал его». С этих пор и впредь (такую силу оказало слово Гвильельмо) он стал наиболее щедрым и приветливым дворянином, чествовавшим иностранцев и горожан, чем кто-либо другой в Генуе в его время.

Новелла девятая

Король Кипра, задетый заживо одной гасконской дамой, из малодушного становится решительным

Оставалось лишь Елизе получить последнее приказание королевы; не ожидая его, она весело начала так: — Часто случалось, юные дамы, что чего не сделали с человеком разные укоры и многие наказания, то делало одно слово, нередко случайно, не то что намеренно сказанное. Это очень хорошо видно из новеллы, рассказанной Лауреттой, и я хочу доказать вам то же коротким рассказом, ибо хорошие рассказы всегда служат на пользу и их надо слушать со вниманием, кто бы ни был их рассказчиком.

Итак, скажу, что во времена первого кипрского короля, по завоевании святой земли Готфридом Бульонским, случилось одной именной гасконской даме отправиться в паломничество ко гробу Господню и на обратном пути пристать в Кипре, где какие-то негодяи нанесли ей постыдное оскорбление. Не находя удовлетворения и сетуя, она надумалась обратиться к королю, но кто-то сказал ей, что труд будет напрасен, ибо король так малодушен и ничтожен, что не только не карает по закону оскорбления, нанесенные другим, но с презренной трусостью терпит множество оскорблений, учиняемых ему самому, почему всякий, у которого накопилось какое-либо неудовольствие, срывал его на нем, нанося ему обиды и стыдя его. Услышав об этом и отчаявшись получить удовлетворение, дама решила, дабы чем-нибудь утолить свой гнев, укорить короля в его малодушии и, отправившись к нему, с плачем сказала: «Государь мой, я пришла пред лицо твое не потому, что ожидаю удовлетворения за нанесенную мне обиду, а чтобы попросить тебя, в воздаяние за нее, научить меня переносить, подобно тебе, учиняемые тебе, как слышно, оскорбления, дабы, наученная тобой, я могла терпеливо перенести мое собственное, которое, Бог тому свидетель, я охотно уступила бы, если бы могла, тебе: ты ведь такой выносливый!» Король, до тех пор медлительный и ленивый, точно пробудился от сна и, начав с обиды, учиненной той женщине, за которую строго наказал, стал с тех пор и впредь сурово преследовать всех, что-либо учинявших противное чести его венца.

Новелла десятая

Маэстро Альберто из Болоньи учтиво стыдит одну женщину, желавшую его пристыдить его любовью к ней

Елиза умолкла; обязательство последнего рассказа оставалось за королевой, которая с женственной грацией начала говорить: – Достойные девушки, как в ясные ночи звезды – украшение неба, а весною цветы – краса зеленых полей, так добрые нравы и веселую беседу красят острые слова. По своей краткости они гораздо более приличествуют женщинам, чем мужчинам, потому что много и долго говорить, когда без того можно обойтись, менее пристойно женщинам, чем мужчинам, хотя теперь мало или вовсе не осталось женщин, которые понимали бы тонкую остроту или, поняв ее, сумели бы на нее ответить – к общему стыду нашему, да и всех живущих. Потому что ту уместность, которая отличала дух прежних женщин, нынешние обратили на украшение тела, и та, на которой платье пестрее и больше, на нем полос и украшений, полагает, что ее следует и считать выше и почитать более других, не помышляя о том, что если бы нашелся кто-нибудь, кто бы все это навьючил или навесил на осла, осел мог бы снести гораздо большую ношу, чем любая из них, и что за это его сочли бы не более, как все тем же ослом. Стыдно говорить мне это, потому что не могу я сказать про других, чего бы не сказала против себя: так разукрашенные, подкрашенные, пестро одетые, они стоят словно мраморные статуи, немые и бесчувственные, и так отвечают, когда их спросят, что лучше было бы, если бы они промолчали; а они уверяют себя, что их неумение вести беседу в обществе женщин и достойных мужчин исходит от чистоты духа, и свою глупость называют скромностью, как будто та женщина и честна, которая говорит лишь со служанкой или прачкой или своей булочницей; ведь если бы природа того хотела, как они в том уверяют себя, другим бы способом ограничила их болтливость. Правда, и в этом деле, как в других, надо брать в расчет время, и место, и лицо, с кем говоришь, ибо иногда случается, что женщина и мужчина думают острым словом заставить покраснеть кого-нибудь, но не соразмерят хорошенько свои силы с силами другого и ощущают, что та краска стыда, которую они хотели навести на него, обращается на них самих. И вот для того, чтобы мы умели остерегаться, и еще затем, чтобы на вас не оправдалась всюду ходящая пословица, что женщинам во всяком деле достается худшее, я желаю поучить вас последней из новелл этого дня, которую мне предстоит рассказать, дабы как благородством духа вы выделяетесь от других, так показали бы себя отличными и превосходством манер.

Не много лет прошло, как в Болонье жил, а может быть, еще и живет, знаменитейший и почти во всем свете славный медик, по имени маэстро Альберто. Уже старик под семьдесят лет, он обладал столь благородным духом, что, хотя естественный жар почти покинул его тело, он не избегал любовного пламени и, увидев на одном празднике красавицу вдову, по имени, как говорят, Мальгерита де Гизольери, сильно ему понравившуюся, воспринял это пламя в свою матерую грудь, как бы то сделал юноша; и ему казалось, что он не уснет покойно ночью, коли в предшествовавший день не поглядит на прелестное и нежное личико красавицы. По этой причине он постоянно показывался то пешком, то верхом, смотря по тому, как приходилось, перед домом той дамы, так что и она и многие другие догадались о причине его появлений и часто шутили промеж себя, что человек столь зрелый годами и умом – влюбился; точно они полагали, что прелестнейшая страсть любви содержится и обитает лишь в неразумных юношеских душах, а не в других. Когда маэстро Альберто продолжал являться, случилось однажды в праздник, что та дама, а с нею много других сидели перед дверью ее дома, и когда они увидели издали направлявшегося к ним маэстро Альберто, все вместе решили просить его к себе и оказать ему почет, а затем поглумиться над его страстью. Так и сделали; ибо, встав и пригласив его, повели его на прохладный двор, куда велели принести тонких вин и лакомств, а под конец

в приятной и игривой форме задали ему вопрос: как могло случиться, что он воспылал любовью к этой красавице, зная, что в нее влюблены многие красивые, благородные, прекрасные юноши? Поняв тонкий укор, маэстро отвечал с веселым видом: «Что я люблю, мадонна, не должно удивлять человека мудрого: особенно, что я люблю вас, ибо вы того стоите. И хотя у стариков, естественно, недостает сил, потребных для упражнения в любви, вместе с тем не отнято у них ни желание, ни понимание того, что значит быть любимым; а это они, естественно, тем более понимают, что у них и разума больше, чем у юношей. А надежда, побуждающая меня любить вас, мадонна, любимую столькими молодыми людьми, в следующем: я много раз видел, как, вечеряя, женщины ели лупины и порей; и хотя в порее ни одна часть не вкусна, менее дурна и приятнее на вкус его головка, вы все вообще, побуждаемые развращенным аппетитом, ее-то и держите в руках, а едите листья, не только ни к чему не годные, но и неприятные на вкус. Почем я знаю, мадонна, что, и выбирая ухаживателей, вы не поступаете таким же образом? Если так, я был бы избран вами, а другие отвергнуты». Дама, устыдившись немного, подобно другим, сказала: «Маэстро, вы очень хорошо и мило проучили нас за наше надменное намерение, во всяком случае, ваша любовь дорога мне, как должна быть дорога любовь столь мудрого и достойного человека; потому свободно располагайте мною, как своею собственностью, лишь бы соблюдена была моя честь». Поднявшись вместе со своими спутниками, маэстро, весело и смеясь, простился с дамой и ушел. Так, не разобрав, над кем подшучивает, она, рассчитывавшая на победу, сама оказалась побежденной; от этого вы отлично уберетесь, коли будете благоразумны.

Уже солнце склонялось к вечеру и жар значительно спал, когда рассказы юных дам и трех юношей пришли к концу. Потому королева сказала шутливо: «Теперь, дорогие подруги, мне ничего не остается сделать в этот день моего правления, как только дать вам новую королеву, и пусть она по своему усмотрению устроит на следующий день свою и нашу жизнь в целях пристойного развлечения. Казалось бы, что дню еще далеко до ночи, но так как тот, кто не распорядится заблаговременно, не может устроить хорошо будущее, и затем, дабы можно было приготовить все, что новая королева найдет нужным назавтра, я решаю, чтобы следующие дни начинались с этого часа. Поэтому, во имя того, кем все живет, и в наше утешение пусть нашим царством руководит на следующий день юная и разумная Филомена». Так сказав и поднявшись, она сняла с себя лавровый венок и, почтительно возложив его на Филомену, первая преклонилась перед ней, как перед королевой, за нею все другие, равно как и юноши, предоставляя себя ее власти. Филомена, несколько покрасневшая от стыдливости, когда увидела себя венчанной на царство, вспомнила недавние речи Пампинеи и, чтобы не показаться простушкой, ободрившись, во-первых, утвердила в должностях всех назначенных Пампинеей, распорядилась тем, что следовало приготовить на следующее утро и к будущему ужину, на том же месте, где они пребывали, а затем начала держать такую речь: «Дорогие подруги, хотя Пампинея, более по своей любезности чем за мое достоинство назначила меня вашей королевой, я тем не менее не расположена в устройении нашего образа жизни следовать только моему мнению, но вместе с моим – и вашему; а для того, чтобы вы знали, что, по-моему, следует сделать, и могли бы впоследствии по вашему усмотрению прибавить что-либо или умалить, я намерена разъяснить вам это в нескольких словах. Если я хорошо пригляделась сегодня к распоряжениям Пампинеи, они показались мне в одно и то же время достойными хвалы и ведущими к удовольствию; поэтому, пока они, вследствие частого повторения или по другой причине, не прискучат, я не считаю нужным отменять их. Итак, распорядившись тем, что мы уже начали приводить в исполнение, встанем и, весело погуляв, когда солнце пойдет на закат, поужинаем на холодке, а там, после нескольких песенок и других развлечений, хорошо будет и пойти спать. Завтра, поднявшись пока прохладно, также пойдем повеселиться куда-нибудь, чем кому по нраву; и как сделали сегодня, вернемся в урочный час к обеду; попляшем и, встав от сна, как сегодня, вернемся сюда для рассказов, в которых, по моему мнению, и заключается

наибольшее удовольствие, а в то же время и польза. Правда, я хочу начать нечто, чего Пампиня не могла сделать, будучи поздно избранной к правлению: хочу ограничить некоторым пределом то, о чем мы станем рассказывать, и объявлять вам о том наперед, дабы у каждого было время придумать какую-нибудь хорошенькую новеллу на данный сюжет. Если вам это приглянется, то он будет таков: так как с начала мира люди бывали увлекаемы разными случайностями судьбы и будут увлекаемы до конца, то пусть каждый расскажет о тех, кто после разных превратностей и сверх всякого ожидания достиг благополучной цели». Женщины и мужчины равно одобрили такой порядок и сказали, что будут ему следовать. Один лишь Дионео заявил, когда все остальные уже умолкли: «Мадонна, как все другие сказали, так скажу и я, что порядок, вами указанный, чрезвычайно хорош и достоин похвалы; но от вашей особой милости я прошу дара, который пусть будет утвержден за мной, пока будет состоять это общество; и дар этот следующий: чтобы это постановление не обязывало меня рассказывать новеллу на данный сюжет, если я того не захочу, и я мог бы рассказать, какую мне заблагорассудится. А дабы никто не подумал, что я прошу этой милости, как человек, у которого рассказов нет в запасе, я готов быть всегда последним из сказывающих». Королева, зная его за забавного и веселого человека и отлично понимая, что он просит того единственно с целью развеселить общество, если б оно устало от рассуждений, какой-нибудь смехотворной новеллой, весело и при общем согласии даровала ему эту милость. Поднявшись, все тихими шагами направились к потоку, светлые воды которого спускались с пригорка в долину, тенистую от множества деревьев, среди диких камней и зеленой травы. Здесь, разувшись и оголив руки и бродя в волнах, дамы затеяли промеж себя разные забавы. Когда приблизился час ужина, вернулись в палаццо, где поужинали с удовольствием. После ужина, когда принесли музыкальные инструменты, королева приказала завести танец, и чтобы вела его Лауретта, а Емилия спела канцону, сопровождаемая на лютне Дионео. Согласно этому приказу, Лауретта тотчас же начала и повела танец, а Емилия любовно запела следующую канцону:

Я от красоты моей в таком очарованье,
Что мне другой любви не нужно никогда
И вряд ли явится найти ее желанье.

Когда смотрюсь в себя, я в прелестях моих
То благо нахожу, что дух наш услаждает,
И новый случай ли, мысль старая ль – но их,
Утех столь сладостных, ничто не прогоняет
И в мире, знаю я, мой взор не повстречает
Такого чудного предмета никогда,
Чтоб в душу новое мне влил очарованье.

В какой бы час себя ни пожелала я
Утешить благом тем, – оно навстречу зова
Спешит немедленно, – и тут душа моя
Вся наслаждения исполнена такого,
Что выразить его ничье не может слово,
И не поймет его тот смертный никогда,
Кто сам не испытал того очарованья.

А я, которая сгораю тем сильнее,
Чем более на нем свои покою взгляды, —
Вкушая уж теперь высокие улады,

Что мне сулит оно, – и в будущем отрады
Еще я большей жду, с какою никогда
Сравниться не могло б ничье очарованье.

Когда кончилась плясовая песня, которой все весело подпевали, хотя кое-кого она заставила и задуматься над ее словами, проплясали еще несколько мелких танцев. Уже прошла часть короткой ночи, и королеве угодно было положить конец первому дню; велев зажечь факелы, она приказала всем пойти отдохнуть до следующего утра, что все и сделали, вернувшись каждый в свой покой.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Кончен первый день Декамерона, начинается второй, в который, под руководством Филомены, рассуждают о тех, кто после разных превратностей и сверх всякого ожидания достиг благополучной цели

Уже солнце повсюду разлило своим светом новый день и птицы, распевая веселые песни на зеленых ветках, свидетельствовали о том во всеуслышание, когда дамы и трое юношей встали и пошли в сад, где, тихо ступая по росистой траве и плетя красивые венки из цветов, долгое время гуляли из одной стороны в другую. И как в прошедший день, так поступили и теперь: закусив, пока еще было прохладно, и занявшись пляской, они пошли отдохнуть; затем, встав в девятом часу, отправились, по усмотрению королевы, на свежий лужок и расселись вокруг нее. Она, красивая и привлекательная, с лавровым венком на голове, постояв в раздумье и окинув взором все общество, приказала Неифиле положить начало будущим рассказам. Та, без всяких оговорок, весело начала так рассказывать.

Новелла первая

Мартеллино, притворясь калекой, делает вид, что излечен мощами святого Арриго; когда его обман обнаружен, его бьют и хватают, и он в опасности быть повешенным, но в конце спасается

– Часто случалось, дорогие дамы, что тот, кто пытался издеваться над другими, особенно над предметами, достойными уважения, оставался при своих шутках, иногда и к своему вреду. Вот почему, повинуясь велению королевы и дабы начать моей новеллой рассказы на поставленный ею вопрос, я намерена передать вам то, что приключилось с одним нашим согражданином, вначале несчастное, а потом, вне всякого его ожидания, и очень счастливое.

Недавно тому назад жил в Тревизо немец, по имени Арриго, который, будучи бедняком, носил тяжести по найму всем, кому требовалось; при всем том он считался человеком честным и святой жизни. По этой причине (правда ли, нет ли) случилось, что, когда он умер, в самый час его кончины, как утверждают тревизцы, все колокола главной церкви Тревизо, без чьего-либо прикосновения, принялись трезвонить. Приняв это за чудо, все стали говорить, что Арриго – святой, и когда народ со всего города сбегался к дому, где лежало его тело, понесли его, точно святые мощи, в главную церковь, куда стали приводить хромых, увечных, слепых и всех, пораженных какою-нибудь болезнью и недостатком, как будто всем надлежало исцелиться от одного прикосновения к этому телу.

Случилось, что во время этой суматохи и народного движения в Тревизо прибыло трое наших сограждан, из которых одного звали Стекки, второго Мартеллино, третьего Маркезе: люди, посещавшие дворы синьоров и потешавшие зрителей своими гримасами и необычным умением передразнивать всякого. Они, дотоле не бывавшие там никогда, удивились, увидя всех в суматохе, и, услышав тому причину, сами пожелали пойти и посмотреть. Оставили свои вещи в гостинице, а Маркезе и говорит: «Пойдем-ка поглядим на этого святого, только мне невдомек, как мы туда доберемся, ибо я слышал, что площадь полна немцев и другого вооруженного люда, которых туда поставил синьор этого города, чтобы не было беспорядков. Кроме того, и церковь, говорят, так набита народом, что никому больше не войти». Тогда Мартеллино, желавший на все это посмотреть, сказал: «За этим дело не станет, я уж найду средство добраться до святого тела». – «Каким образом?» – спросил Маркезе. Мартеллино отвечал: «Я расскажу тебе как: я прикинусь калекой, а ты с одной стороны, Стекки – с другой – пойдете, поддерживая меня, как будто я сам по себе не в состоянии идти, и представитесь, что хотите вести меня туда, дабы тот святой исцелил меня; не будет никого, кто бы, увидев нас, не уступил нам места и не дал пройти». Маркезе и Стекки одобрили этот способ; не мешкая долго, они вышли из гостиницы и отправились втроем в уединенное место, где Мартеллино так скривил себе кисти и пальцы, руки и ноги, а к тому же и рот, глаза и все лицо, что казался страшилищем, и не было никого, кто бы, увидев его, не признал в нем человека, в самом деле искалеченного и разбитого.

Взявши его так изуродованного, Маркезе и Стекки направились к церкви, приняв благочестивый вид, смиренно и Бога ради прося каждого встречного дать им дорогу, чего добивались легко; в скором времени, обращая на себя внимание всех и при общих криках: «Посторонись, посторонись!», они добрались до места, где положено было тело святого Арриго. Несколько дворян, стоявших вокруг, быстро схватили Мартеллино и возложили его на тело, дабы таким образом он удостоился благодати здоровья. В то время как все внимательно смотрели, что станет с Мартеллино, он, погодив немного, принялся (а умел он это делать превосходно) показывать, будто разжимает один палец, потом кисть руки, потом всю руку и таким

образом выпрямился весь. Увидев это, народ так завопил во хвалу святого Арриго, что и грома не было бы слышно.

Стоял там случайно поблизости один флорентинец, очень хорошо знавший Мартеллино, но не признавший его, когда его привели так изуродованного; теперь, увидев его выпрямленного и признав его, он вдруг захохотал и сказал: «Убей его Бог! Кто бы поверил, увидев, каким он пришел, что он в самом деле не калека?» Услышали эти слова некоторые тревизцы и тотчас же спросили: «Как так? Разве он не был калекой?» На это флорентинец отвечал: «Да нет же, ей-богу, он всегда был таким же прямым, как всякий из нас, только, как вы могли убедиться сами, он лучше всякого другого владеет умением принимать такой вид, какой ему вздумается». Как только они услышали это, большего не ждали, бросились напором вперед и принялись кричать: «Взять этого предателя, что глумится над Богом и святыми и, не будучи параличным, явился сюда в образе расслабленного, чтобы насмеяться над нашим святым и над нами!» Так говоря, они взяли его и стащили с места, где он был; схватив его за волосы и сорвав с него одежду, они принялись бить его кулаками и ногами; тот не счел бы себя мужчиной, кто бы не поспешил к нему за тем же делом. Мартеллино кричал: «Помилосердуйте, ради Бога!» – и, насколько мог, отбивался; но это не помогало: толпа становилась вокруг него все больше и больше. Увидев это, Стекки и Маркезе стали говорить про себя, что дело плохо, но, боясь за самих себя, не решались помочь ему; напротив, вместе с другими кричали, что его следует убить, а тем не менее держали на уме, как бы извлечь его из рук народа, который наверно бы умертвил его, если бы не уловка, к которой внезапно прибегнул Маркезе. Отправившись, как только мог поспешнее, к стоявшей там страже синьории и обратившись к тому, кто был на месте подесты, он сказал: «Помогите, ради Бога! Какой-то мошенник отрезал у меня кошелек с сотней золотых флоринов; велите схватить его, пожалуйста, чтобы мне вернуть мое». Услышав это, двенадцать служилых людей тотчас же побежали туда, где бедного Мартеллино чесали без гребня, и, пробившись сквозь толпу с величайшими в мире усилиями, вырвали его из рук толпы, всего изломанного и истоптанного, и повели в ратушу. Сюда последовали за ним многие, считавшие себя осмеянными им, и, услышав, что он схвачен как воришка, также принялись показывать, что он и у них отрезал кошелек, так как они не находили другого, более подходящего предлога, чтобы насолить ему. Выслушав это, судья подесты, человек суровый, немедленно отвел Мартеллино в сторону, принялся его о том допрашивать, но Мартеллино отвечал шутками, как будто ни во что не ставил этот арест. Рассерженный этим, судья велел привязать его к дыбе и дать несколько хороших ударов, чтобы заставить его признаться в том, в чем те его обвиняли, а затем повесить. Когда Мартеллино снова спустили на землю и судья спросил его, правда ли то, что показывают на него те люди, Мартеллино, видя, что отнекивание ни к чему не поведет, сказал: «Господин мой, я готов открыть вам правду, но пусть каждый из обвиняющих объявит, когда и где я отрезал у него кошелек, а я вам скажу, что я сделал и что нет». – «Хорошо», – отвечал судья и велел позвать нескольких; из них один говорил, что Мартеллино отрезал у него кошелек неделю тому назад, другой, что за шесть дней, третий за четыре, а иные показали, что в тот же самый день. Услышав это, Мартеллино сказал: «Господин мой, все они нагло лгут, а что я говорю правду, тому я могу привести доказательство; пусть бы мне никогда не бывать в этом городе, если я когда-либо вступал в него прежде, чем теперь, недавно тому назад! И как только я прибыл, пошел посмотреть на святое тело; тут меня и отделали, как видите. Что это истина, это вам могут подтвердить чиновник синьории, к которому предъявляются приезжие, его книга и, наконец, мой хозяин. Потому, если все окажется так, как я вам сказал, то соблаговолите не мучить и не изводить меня по просьбе этих негодяев».

Пока дело так обстояло, Маркезе и Стекки, услышав, что судья строго взялся за следствие и уже привязал Мартеллино к дыбе, перепугались сильно и говорили промеж себя: «Плохое дело мы учинили: со сковороды его стащили, а в огонь бросили!» Потому, принявшись усердно искать повсюду своего хозяина и найдя его, они объяснили ему все дело. Тот, рассмеявшись,

повел их к Сандро Аголанти, жившему в Тревизо и бывшему в большой чести у синьора; сказав ему все по порядку, он вместе с ними попросил его заняться делом Мартеллино. Сандро, вдоволь нахохотавшись, отправился к синьору и попросил послать за Мартеллино, что и было сделано. Те, что отправились за ним, нашли его в одной сорочке перед судьей совсем растерянного и сильно испуганного, потому что судья не хотел слышать никакого его извинения, напротив, питая некоторую нелюбовь к флорентийцам, был расположен повесить его и никоим образом не желал отдать его синьору, пока не принужден был сделать это против воли. Когда Мартеллино предстал перед синьором, он все рассказал ему по порядку и попросил его, на место всякой другой милости, отпустить его, потому что, пока он не будет во Флоренции, ему все будет чудиться петля на шее. Синьор много смеялся над этим приключением, подарил им по платю на человека, и все, втроем, избегнув, против ожидания, столь великой опасности, вернулись подобию-поздорову, восвояси.

Новелла вторая

Ринальдо д'Асти, будучи ограблен, является в Кагель Гвильельмо, где находит приют у одной вдовы и, вознагражденный за свои протори, возвращается домой здоров и невредим

Дамы без удержу смеялись над приключениями Мартеллино, о которых рассказала Неифила, а из юношей особенно смеялся Филострато, которому, как раз сидевшему рядом с Неифилой, королева и приказала продолжать рассказывать. Нимало не медля, он так начал: – Прекрасные дамы, мне напрашивается на рассказ новелла о вещах святых, смешанных отчасти с бедственными и любовными, – новелла, которую, быть может, будет бесполезно выслушать, особенно тем, которые странствуют по небезопасным юдолям любви, где часто случается, что кто не прочел молитвы св. Юлиану, находит плохой приют и при удобной постели.

Итак, во времена маркиза Аццо Феррарского один купец, по имени Ринальдо д'Асти, прибыл по своим делам в Болонью. Случилось, что, когда, устроив их и на пути домой, он выехал из Феррары, направляясь в Верону, он встретился с какими-то людьми, которые походили на купцов, а были разбойники и негодяи; он неосмотрительно вступил с ними в разговор и присоседился к ним. Те, увидев, что он купец, и полагая, что при нем деньги, решились его ограбить, лишь только представится время, а дабы у него не явилось подозрение, они, точно скромные и порядочные люди, беседовали с ним о вещах приличных и честных, показывая себя по отношению к нему, насколько могли и умели, обходительными и покорными, так что он счел большой удачей, что встретил их, потому что был один с своим верховым слугой.

Так путешествуя, переходя, как часто бывает в разговорах, от одного к другому, они напали на вопрос о молитвах, с которыми люди обращаются к Богу; один из разбойников, – а их было трое, – и говорит Ринальдо: «А ты, почтенный человек, какую молитву привык творить в пути?» Ринальдо отвечал: «По правде, в такого рода делах я простоват и груб, мало знаю молитв, живу по старине и считаю два сольда за двадцать четыре динара, тем не менее у меня было всегда обыкновение рассказывать во время путешествия по утрам, выезжая из гостиницы, „Отче наш“ и „Богородицу“ за упокой отца и матери св. Юлиана, а затем уже молить Бога и святого, чтобы на следующую ночь они доставили мне хороший ночлег. Часто в моей жизни бывал я, путешествуя, в больших опасностях, избежав которые я все же попадал на ночь в хорошее место и на добрый ночлег; потому я твердо убежден, что св. Юлиан, в честь которого я творю эти молитвы, выпросил мне эту милость у Бога; и мне кажется, что и путь будет неудачен, и на ночь я неудачно пристану, если эту молитву не скажу утром». – «А сегодня утром рассказывал ты ее?» – спросил его тот, кто обратился к нему. Ринальдо отвечал: «Разумеется». Тогда тот, уже знавший, как может повернуться дело, сказал про себя: «Тебе она еще понадобится, потому что, если только у нас не будет неудачи, ты, сдаешься мне, попадешь на дурной ночлег». После того он сказал ему: «Я также много странствовал и никогда не рассказывал той молитвы, хотя многие, слышал я, очень одобряли ее, и никогда еще не случалось, чтобы я, несмотря на то, попадал на дурной ночлег, а сегодня вечером ты, может быть, сам убедишься, кто из нас лучше приютится: ты ли, прочтя молитву, или я, ее не сказавши. Правда, я употребляю вместо нее другие: „Dirupisti“, или „Intemerata“, либо „De profundis“, молитвы, оказывающие большую помощь, как говаривала моя бабушка». Когда, беседуя таким образом о разных вещах, они продолжали путь, а те выжидали время и место для исполнения своего злого умысла, случилось, уже поздно, что по ту сторону Кагель Гвильельмо, при переправе через одну реку, те трое, рассчитав, что час не ранний и место уединенное и закрытое, напали на него, ограбили и, оставив его пешком и в одной сорочке, удаляясь, сказали: «Ступай и погляди, доставит ли тебе твой св. Юлиан хороший приют в эту ночь, а наш доставит его нам наверно». Переправив-

шись за реку, они удалились. Служитель Ринальдо, увидев, что на него напали, будучи трусом, ничего не сделал, чтобы помочь ему, а повернув своего коня, погнал его, пока не прибыл в Кагель Гвильельмо, куда приехал вечером, и заночевал, не заботясь об остальном. Ринальдо, оставшись в одной рубашке и босым, при сильном холоде и не прекращавшемся снеге, не знал, что ему делать; заметя, что уже наступила ночь, он, дрожа и стуча зубами, начал озираться, не увидит ли какого-нибудь пристанища, где бы он мог провести ночь, не умерев от стужи. Не видя ничего (ибо во время войны, незадолго перед тем бывшей в том крае, все было выжжено), побуждаемый холодом, он бегом направился в Кагель Гвильельмо, не зная, однако ж, туда или в другое место убежал его слуга, и полагая, что, если он туда доберется, Господь пошлет ему какую-нибудь помощь. Но темная ночь застигла его почти в одной миле от замка, потому он прибыл туда так поздно, что ворота уже были заперты, мосты подняты, и ему нельзя было войти. Печальный и неутешный, он со слезами озирался, где бы приютиться, чтобы на него по крайней мере не падал снег; случайно он увидел дом, несколько выступавший вперед за стену местечка, и решил пойти под этот уступ и пробить там до рассвета. Отправившись туда, он нашел под выступом дверь, хотя и запертую, внизу которой, унылый и грустный, он и расположился на соломе, подобранной по соседству, беспрестанно сетуя на св. Юлиана и говоря, что не того он заслужил своей в него верой. Но св. Юлиан имел о нем попечение и, недолго медля, приготовил ему хороший приют. Жила в том замке вдова, красавица собою, каких немного, которую маркиз Аццо любил пуще жизни и держал здесь для своей надобности; жила вышепереченная дама в том самом доме, под выступ которого пошел укрыться Ринальдо. Случилось, что за день перед тем приехал маркиз, чтобы провести ночь с вдовою, тайно распорядился приготовить себе в ее доме ванну и хороший ужин, но когда все было готово и вдова ожидала лишь прихода маркиза, явился к воротам замка служитель и принес маркизу известия, вследствие которых ему пришлось внезапно уехать. Поэтому, послав сказать даме, чтобы она не ждала его, он тотчас же отправился в путь; она, немного расстроенная, не зная, что делать, решила сама принять ванну, приготовленную для маркиза, а затем поужинать и лечь спать. Так она и села в ванну; а ванна была по соседству с дверью, у которой приютился с внешней стороны местечка бедный Ринальдо; потому, сидя в ванне, дама слышала, как он плакал и щелкал зубами, точно цапля; позвав свою прислужницу, она сказала ей: «Пойди наверх и посмотри, кто там за стеною у порога двери, кто он такой и что делает». Прислужница отправилась и, так как воздух был прозрачен, увидела Ринальдо, сидевшего, как сказано, в одной рубашке и без обуви и сильно дрожавшего. Она спросила его, кто он такой. Ринальдо, едва связывая слова от сильной дрожи, сказал ей, насколько мог кратко, кто он и как и почему он здесь, а затем принялся жалобно просить ее, чтобы она, по возможности, не дала ему умереть здесь ночью от холода. Растроганная этим, служанка вернулась к своей госпоже и все ей рассказала. Та, одинаково ощутив к нему жалость, вспомнила, что у ней есть ключ от той двери, иногда служившей для тайных посещений маркиза, и сказала: «Пойди и потихоньку отопри ему; вот и ужин, которого и есть некому, а приютить его места довольно». Много похвалив госпожу за такое человеколюбие, служанка пошла, открыла Ринальдо, и, когда впустила его, дама, увидев его почти окоченевшим, сказала: «Полезай-ка, друг, в эту ванну, она еще не остыла». Не ожидая дальнейших приглашений, он охотно это сделал, и когда тепло подкрепило его, ему показалось, будто он снова от смерти вернулся к жизни. Дама велела приготовить ему платье, бывшее ее мужа, незадолго перед тем умершего, и когда он надел его, оно оказалось будто сшитым по нем; в ожидании распоряжений хозяйки он принялся благодарить Бога и св. Юлиана, избавивших его от недоброй ночи, которую он себе чаял, и приведших его к хорошему, как ему мнилось, пристанищу.

Когда хозяйка немного отдохнула, приказала развести большой огонь в одной горнице и, пройдя туда, спросила, как тому человеку можется. Служанка на это ответила: «Мадонна, он оделся, красивый мужчина и, кажется, хороший, благовоспитанный человек». — «Пойди-ка позови его, — говорит хозяйка, — скажи, чтобы пришел сюда погреться у огня, он и поужи-

нает, ибо я знаю, что он не ужинал». Войдя в горницу и увидав даму, которая показалась ему из знатных, он почтительно приветствовал ее, воздав ей какую мог больше благодарность за оказанное ему благодеяние. Увидев и выслушав его и убедясь, что он действительно таков, как говорила ей служанка, дама весело приняла его, запросто посадила с собою у огня и расспросила о приключении, приведшем его сюда. Ринальдо рассказал ей все по порядку; дама уже слышала кое-что о том, когда слуга Ринальдо прибыл в замок, и потому, вполне поверив всему, что он ей рассказал, сообщила ему, что знала о его служителе и что на следующее утро ему легко будет разыскать его. Когда накрыли на стол, Ринальдо, по желанию хозяйки, совершив омовение рук, сел с нею вместе за ужин. Он был высокого роста, с красивым, приятным лицом и хорошими, изящными манерами, средней молодости; хозяйка, несколько раз окинув его глазами, очень его одобрила, и он запал ей на ум, так как ожидание маркиза на ночлег разбудило в ней похотливое чувство. После ужина, когда они встали из-за стола, она посоветовалась с своей служанкой: одобрит ли она ее, если, будучи обманутой маркизом, она воспользуется добром, которое судьба послала ей навстречу. Поняв желание своей госпожи, служанка, как могла и умела, убедила ее последовать ему; поэтому, вернувшись к камину, где она оставила Ринальдо, хозяйка стала смотреть на него любовно и сказала: «О чем вы так задумались, Ринальдо? Не о том ли, что вам не вернуть коня и кое-какого потерянного платья? Утешьтесь, будьте веселы: вы здесь как дома; скажу вам более: когда я увидела вас в этой одежде, бывшей моего покойного мужа, и мне показалось, что это – он, у меня сто раз являлось этим вечером желание обнять и поцеловать вас; и если бы не боязнь, что это вам не понравится, я наверно так бы и сделала». Услышав такие речи и видя блеск в глазах хозяйки, Ринальдо, как не дурак, подойдя к ней с распростертыми объятиями, сказал: «Мадонна, как подумаю я, что лишь благодаря вам я буду и впредь считать себя в числе живых, и представлю себе, от чего вы меня избавили, было бы недостойным с моей стороны, если б я не потщился сделать все, что вам по вкусу; потому удовлетворите вашему желанию обнять и поцеловать меня, а я обниму и поцелую вас более чем охотно». Нужды в словах более не представилось. Хозяйка, вся горевшая любовным желанием, тотчас же бросилась в его объятия; когда, страстно прижавшись к нему, она тысячу раз поцеловала и столько же получила поцелуев, выйдя оттуда, они вместе отправились в покой, тотчас же легли и, прежде чем наступил день, много раз утолили свою страсть. Когда же начала заниматься заря, они, по желанию хозяйки, поднялись, а дабы про это дело кто-нибудь не проведал, она дала Ринальдо кое-какое дрянное платье, набила деньгами его кошель и, попросив его держать все в тайне и показав наперед, каким путем ему можно пойти, чтобы разыскать своего слугу, выпустила его через ту же калитку, в которую он вошел. Когда рассвело, он, будто придя издалека, вступил в замок, ворота которого были отворены, и нашел своего служителя; когда он переоделся в свое платье, бывшее в чемодане, и уже готовился сесть на коня слуги, случилось каким-то чудом, что три разбойника, ограбившие его накануне вечером и схваченные вскоре после того за другое содеянное ими преступление, были приведены в замок; по их сознанию ему вернули его коня, платье и деньги, так что он ничего не потерял, кроме пары подвязок, о которых грабители не знали, куда их девали. Поэтому, возблагодарив Бога и св. Юлиана, Ринальдо сел на коня и подобру-поздорову вернулся восвояси; а три разбойника отправились на другой день давать пинка ветру.

Новелла третья

Трое юношей, безрассудно растратив свое состояние, обеднели; их племянник, возвращаясь домой в отчаянии, знакомится на пути с аббатом и открывает в нем дочь английского короля, которая выходит за него замуж, а он, возместив дядьям все их убытки, возвращает их в прежнее положение

Приключения Ринальдо д'Асти выслушаны были дамами с удивлением, похвалена его набожность и возданы хвалы Господу и св. Юлиану, помогшим ему в его крайней беде. И хотя о том и говорили наполовину втихомолку, не сочли несмышленной и женщину, которая сумела воспользоваться добром, посланным ей в дом Богом. Пока, усмехаясь, они рассуждали о прекрасной ночи, ею проведенной, Пампинея, сидевшая рядом с Филострато, догадавшись (как то и оказалось), что очередь дошла до нее, и сосредоточившись, принялась размышлять о том, что ей рассказать, и по приказу королевы весело и смело начала так: – Достойные дамы, чем более говорят о случайностях фортуны, тем более остается рассказать о них, если внимательно присмотреться к ее ходу. И этому никто не должен удивляться, если разумно сообразит, что все, что мы по безрассудству зовем своим, находится в ее руках и что, стало быть, она по своему тайному решению беспрерывно передает все из одних рук в другие и из тех в эти, в порядке, нам неведомом. Хотя это очевидно и на всем оправдывается каждый день и уже доказано было в некоторых из предыдущих новелл, тем не менее, так как королеве заблагорассудилось, чтобы о том рассуждали, я присоединю к рассказанным, может быть, не без некоторой пользы для слушателей, и свою новеллу, которая, полагаю, вам понравится.

Был когда-то в нашем городе именитый человек, по имени Тедальдо, из рода, как полагают некоторые, Ламберти; другие утверждают, что он был из рода Аголанти, основываясь, быть может, скорее на ремесле, которым занимались впоследствии его сыновья, чем на чем ином, и соображаясь с тем, чем Аголанти всегда занимались и еще занимаются. Но, оставив вопрос о том, к какому из двух родов он принадлежал, скажу, что в свое время Тедальдо был богатейшим человеком и что у него были три сына: первый по имени Ламберто, второй Тедальдо, третий Аголанте, красивые и стройные юноши, хотя старший не достиг восемнадцатилетнего возраста, когда скончался богатейший мессер Тедальдо, оставив им, как своим законным наследникам, все свое движимое и недвижимое имущество. Очутившись богатыми людьми, с деньгами и поместьями, они принялись необузданно и без удержки мотать, руководясь исключительно своими желаниями: держали множество слуг, много дорогих коней, собак и птиц, жили открыто, тратясь на подарки и турниры, делая не только все то, что пристало благородным людям, но и что им, как юношам, могло взбрести на ум. Недолго вели они такую жизнь, как казна, оставленная им отцом, стала убывать, и, так как на их обычные траты не хватало одних доходов, они принялись продавать и закладывать свои имения; продавая сегодня одно, завтра другое, они и не заметили, как остались почти ни при чем и нищета открыла им глаза, которые богатство держало замкнутыми. Поэтому, позвав однажды обоих братьев, Ламберто сказал им, каково было почетное положение их отца и каково их собственное, каково его богатство и бедность, до которой они дошли, беспутно мотая. И он убедил их, как только мог лучше, прежде чем объявится их нищета, продать то небольшое, что у них осталось, и вместе уехать. Так они и сделали и, ни с кем не простившись, без огласки оставив Флоренцию, не останавливаясь нигде, отправились в Англию. Здесь наняли в Лондоне небольшой домик, ограничив свои расходы, и рьяно принялись за ростовничество; и так благоприистовала им судьба, что в течение немногих лет они накопили большую сумму денег. Поэтому, вернувшись с ними во Флоренцию, один за другим, они выкупили большую часть своих поместий; кроме того, купили и другие, женились и, продолжая свое прежнее занятие в Англии, послали туда заведо-

вать своим делом племянника, по имени Алессандро, а сами, забыв, до чего довели их прежде беспорядочные траты и несмотря на то, что обзавелись семьями, стали мотать пуще прежнего, пользуясь у всех купцов полным кредитом на любую значительную сумму денег. Покрывать эти траты помогали им в течение нескольких лет деньги, доставлявшиеся Алессандро, который принялся отдавать деньги в рост баронам под залог их замков и других доходов, что приносило ему большую выгоду. Пока три брата жили так широко, а при недостатке денег занимали их, возлагая твердую надежду на Англию, случилось, против общего ожидания, что в Англии возникла война между королем и его сыном, почему весь остров разделился на партии, кто стоял за одного, кто за другого, вследствие чего все замки баронов были отобраны у Алессандро и не стало других доходов, которые могли бы его обеспечить. Надеясь со дня на день, что между сыном и отцом произойдет перемирие и что ему вернут все – и капитал, и рост, Алессандро не покидал острова, а братья жили во Флоренции, ничем не ограничивая своих громадных трат, занимая с каждым днем более. Но так как в течение нескольких лет надежды не оправдывались событиями, три брата не только потеряли кредит, но и были внезапно схвачены, так как займодавцы желали быть удовлетворены; имения их были недостаточны для уплаты, за недочет они сами остались в тюрьме, а их жены и малые дети отправились в деревню, кто сюда, кто туда, обнищавшие, не зная, чего иного им и ожидать, кроме вечной нищеты.

Алессандро, много лет поджидавший в Англии мира, видя, что он не настает, и рассчитав, что оставаться ему столь же опасно для жизни, как и напрасно, решился вернуться в Италию и в одиночку отправился в путь. При выезде из Брюгге он случайно увидел бенедиктинского аббата, также выезжавшего оттуда в сопровождении многих монахов, со многими служителями и большим обозом впереди. За аббатом следовали два старых рыцаря, родственники короля, к которым Алессандро присоседился, как к знакомым, и они охотно взяли его с собою. Едучи с ними, он вежливо спросил их, что за монахи едут впереди со столькими слугами и куда они направляются. На это один из рыцарей отвечал: «Тот, что едет впереди, наш юный родственник, недавно избранный в аббаты одного из наибольших аббатств Англии; а так как он моложе, чем, по законам, допустимо для такого чина, мы едем с ним в Рим просить святого отца, дабы он отменил для него препятствие слишком юного возраста и затем утвердил в звании. Но об этом не следует говорить другим». Когда на пути новопоставленный аббат ехал то впереди, то позади своей свиты, как то делают путешествующие синьоры, что мы видим ежедневно, случилось ему приметить возле себя Алессандро, очень юного, статного, с очень красивым лицом, при этом с столь приятными манерами и обхождением, как только можно себе представить кого-либо. С первого взгляда он так удивительно понравился аббату, как никто другой; подозревая его, он любезно вступил с ним в беседу, расспрашивая, кто он, откуда едет и куда. Алессандро, откровенно объяснив ему свое положение, удовлетворил его любопытству и предоставил себя, по мере своих слабых сил, к его услугам. Услышав его прекрасные, умные речи, приглядевшись к его манерам и соображая, что он, несмотря на свое низкое ремесло, человек благородный, аббат еще более воспылал к нему сочувствием: исполняя сострадания к его бедствиям, он дружески утешал его, говоря, что ему следует питать надежду, потому что, как человека достойного, Господь возведет его снова, откуда низвергла судьба, и еще выше; и он попросил его, отправлявшегося в Тоскану, быть столь любезным остаться в его обществе, так как и он ехал туда же. Алессандро поблагодарил его за его слова утешения и сказал, что готов исполнить все его приказания.

Между тем как аббат продолжал путь, а лицезрение Алессандро возбуждало в его сердце новые чувства, случилось им через несколько дней приехать в одно селенье, не особенно богатое гостиницами. Когда аббат заявил желание пристать здесь, Алессандро устроил его в доме одного хозяина, своего хорошего знакомого, распорядившись приготовить ему комнату, где в доме было поудобнее; став почти что сенешалом аббата, он, как человек здесь знакомый, разместил всю его челядь по деревне, кого здесь, кого там, как было возможно; и когда аббат

поужинал и с наступлением поздней ночи все пошли спать, Алессандро спросил хозяина, где ему лечь. Хозяин отвечал: «Право, не знаю; ты видишь, все полно, и я с моими спим на досках; правда, в комнате аббата есть несколько ларей, я могу повести тебя туда, постлать тебе какую-нибудь постель; там, коли хочешь и как можешь, проводи эту ночь». На это Алессандро сказал: «Как мне пойти в комнату аббата? Ты знаешь, она тесна и по тесноте никто из его монахов не мог в ней лечь. Если б я о том догадался, когда прилаживались на ночь, я бы положил монахов на ларях, а сам отправился бы, где теперь они спят». На это хозяин сказал: «Дело сделано; коли желаешь, ты можешь устроиться там наилучшим образом в свете: аббат почивает, полог спущен, я потихоньку положу тебе там пуховик, спи себе». Увидев, что все это можно сделать, ничуть не потревожив аббата, Алессандро согласился и устроился там по возможности тихо.

Аббат, не спавший, напротив, страстно отдавшийся мыслью своим новым желаниям, слышал, о чем хозяин говорил с Алессандро, а также и про то, где Алессандро прилег; крайне довольный, он начал так говорить про себя: «Господь послал благовремение моим желаниям; если я не воспользуюсь им, такого случая, быть может, долго не представится». Твердо решившись воспользоваться им, когда ему показалось, что все в гостинице успокоилось, он тихим голосом позвал Алессандро, предлагая ему лечь с собою. Тот, после долгих отговорок, разделся и лег. Аббат, положив ему руку на грудь, принялся шупать его, совсем так, как влюбленные девушки делают с своими милыми, чему Алессандро сильно удивился, подозревая, что аббата побуждает к такого рода шупанью, быть может, нечестная страсть. Эти подозрения тотчас же распознал аббат, сам ли догадавшись, или по какому-нибудь движению Алессандро; улыбнулся и, быстро сняв рубашку, которая была на нем, схватив руку Алессандро, возложил себе на грудь со словами: «Брось свои глупые мысли, Алессандро, и, пощупав здесь, познай, что я скрываю». Положив руку на грудь аббата, Алессандро открыл две груди круглые, твердые и нежные, точно сделанные из слоновой кости; обретя их и тотчас познав, что перед ним женщина, не дожидаясь иного приглашения, он тотчас обнял ее и хотел уже поцеловать, когда она сказала ему: «Прежде, чем подступить ко мне ближе, выслушай, что я хочу сказать тебе. Как ты видишь, я – женщина, а не мужчина; выехав девушкой из дому, я направлялась к папе, дабы он выдал меня замуж. На твое счастье или мое несчастье, как увидела я тебя в тот день, вспылала к тебе такой любовью, какой ни одна женщина не любила; потому я решила взять в мужья тебя скорее, чем кого-либо другого; коли ты не хочешь иметь меня женой, удались тотчас и пойди к себе». Алессандро хотя и не знал, кто она, но имея в виду ее свиту, считал благородной и богатой, а что она красавица, это он видел; потому, недолго думая, отвечал, что если ей так угодно, то и ему очень по нраву. Тогда, сев на постели, перед иконой, на которой написан был лик Господа нашего, она, надев ему на палец кольцо, велела обручиться с собою; затем, обнявшись, они, к великому удовольствию обеих сторон, наслаждались в продолжение остальной части ночи. Условившись относительно способа и порядка своих действий, Алессандро поднялся, вышел из комнаты тем же путем, каким вошел, так что никто и не узнал, где он провел ночь; безмерно веселый, он снова отправился в путь с аббатом и его свитой и через несколько дней прибыл в Рим.

Проведя здесь некоторое время, аббат с двумя рыцарями и Алессандро прямо явился к папе; после достойных приветствий аббат начал так говорить: «Святой отец, вы лучше других должны знать, что всякий, желающий жить хорошо и честно, обязан по возможности избегать всякого повода, который мог бы побудить его поступать иначе; и вот я, желающая жить честно, дабы совершить это в полноте, тайно убежала в одежде, которую вы на мне видите, с большою частью сокровищ английского короля, моего отца (желавшего выдать меня за шотландского короля, древнего старика, – меня, как видите, молодую), и пустилась в путь, чтобы явиться сюда, а ваше святейшество выдало бы меня замуж. А бежать заставила меня не столько дряхлость шотландского короля, сколько боязнь, в случае если б я вышла за него, совершить по моей юношеской слабости что-либо противное Божеским законам и чести королевской крови

моего отца. Когда я отправлялась сюда в такой решимости, думаю, что Господь, один в совершенстве знающий, что каждому нужно, по своему милосердию явил моим глазам того, кого ему угодно сделать моим мужем; то был вот этот юноша (и она указала на Алессандро), которого вы видите подле меня, нравы и доблесть которого достойны любой знатной дамы, хотя, быть может, благородство его крови не такое, как королевской. Его я избрала, его хочу иметь мужем, и никогда не будет у меня другого, как бы то ни показалось моему отцу или кому иному. Этим устранился главный повод к моему путешествию; но мне желательно было довершить его, как для того, чтобы посетить святые и досточтимые места, которыми полон этот город, и ваше святейшество, так и для того, чтобы брачный союз, совершенный Алессандро и мною лишь перед Богом, открыть пред вашим лицом, а стало быть, и перед другими людьми. Потому я смиренно молю вас принять благосклонно, что приятно Богу и мне, и дать нам свое благословение, дабы с ним, как бы с большим ручательством угодить тому, чьим вы являетесь наместником, мы могли, во славу Господа и вашу, вместе жить и под конец умереть».

Удивился Алессандро, услышав, что его жена – дочь английского короля, и втайне исполнился чудесной радостью; но еще более удивились оба рыцаря и так разгневались, что, будь они в другом месте, а не перед папой, они учинили бы оскорбление Алессандро, а быть может, и даме. С другой стороны, изумился очень и папа и нарядом дамы, и ее выбором, но, понимая, что дела назад не вернуть, пожелал удовлетворить ее просьбу. Наперед успокоив рыцарей, которых видел рассерженными, и восстановив их хорошие отношения к даме и Алессандро, он распорядился тем, что надлежало сделать. Когда настал назначенный им день, в присутствии всех кардиналов и многих других именитых людей, явившихся по его приглашению на устроенное им большое торжество, он велел позвать даму, одетую по-царски и показавшуюся столь красивой и привлекательной, что все ее по праву хвалили; вместе с ней и Алессандро, также великолепно одетого, по виду и манерам – не того молодца, что занимался ростовщицеством, а скорее королевича, которому те два рыцаря оказывали большой почет. Тут папа велел совершить наново и торжественно брачный обряд и после свадьбы, прекрасной и пышной, отпустил их с своим благословением.

По желанию Алессандро, а также и дамы, они, выехав из Рима, направились во Флоренцию, куда молва уже принесла весть о них; здесь граждане приняли их с большим почетом, а дама велела выпустить трех братьев, наперед распорядившись уплатить за них всем, а их самих и их жен восстановила в их имуществе. Одобряемый за это всеми, Алессандро с женой выехал из Флоренции, взяв с собою Аголанте; прибыв в Париж, они почетно были приняты королем. Затем оба рыцаря отправились в Англию и так повлияли на короля, что он вернул им свою милость и с большим торжеством принял дочь и своего зятя, которого вскоре после того с великой пышностью посвятил в рыцари, дав ему Корнуэльское графство. А он оказался столь доблестным и так умел действовать, что примирил сына с отцом, отчего острову последовало большое благо, а он приобрел любовь и расположение всего населения. Аголанте сполна вернули все, что были ему должны, и он возвратился во Флоренцию большим богачом, после того как Алессандро поставил его рыцарем. Граф и его жена зажили в славе, и, как говорят иные, он, частью своею сметливостью и мужеством, частью помощью тестя, завоевал впоследствии Шотландию и был венчан на царство.

Новелла четвертая

Ландольфо Руффоло, обеднев, становится корсаром; взят генуэзцами, терпит крушение в море, спасается на ящике, полном драгоценностей, находит приют у одной женщины в Корфу и возвращается домой богатым человеком

Лауретта, сидевшая возле Пампиней, видя, что она дошла до торжественного конца своей новеллы, не ожидая иного приглашения, начала говорить таким образом: – Прелестные дамы, по моему мнению, ни на чем не видать больше действия фортуны, как на человеке, возвысившемся из крайней нищеты к царственному положению, как то приключилось в новелле Пампиней с ее Алессандро. А так как всякому из нас, кто станет впредь рассказывать о назначенном сюжете, придется держаться в его границах, я не постесняюсь рассказать вам новеллу, которая, хотя и содержит в себе еще большие бедствия, не представляет столь блестящей развязки. Я знаю хорошо, что, имея в виду последнюю, вы с меньшим вниманием слушаете мой рассказ: но так как другого дать я не могу, меня извинят.

Морской берег от Реджио до Гаэты считается прелестнейшей частью Италии; там, очень близко от Салерно, есть высокая полоса, господствующая над морем, которую жители зовут Амальфийским берегом; он усеян мелкими городками с садами и ручьями, и там много богатых людей, ведущих торговлю так успешно, как никто иной. В числе упомянутых городов есть один, называемый Равелло, в котором и теперь водятся богатые люди, а прежде был богатейший человек, по имени Ландольфо Руффоло, которому его богатства не хватало, и он, желая его удвоить, едва не погубил вместе с ним и самого себя. И вот, сделав, по обыкновению купцов, свои расчеты, он купил большущее судно и, нагрузив его на собственные деньги разным товаром, отправился с ним в Кипр. Здесь он нашел несколько других судов, пришедших с товаром того же качества, какой привез и он; по этой причине ему пришлось не только продешевить привезенное, но чуть не бросить даром, когда он вздумал продавать его, что привело его почти к разорению. Сильно огорченный этим обстоятельством, не зная, как быть, и видя, что в короткое время из богатейшего человека он стал чуть не бедняком, он решился либо умереть, либо грабежом возместить свои убытки, чтобы не вернуться нищим туда, откуда выехал богачом. Найдя покупателя своему большому судну, на вырученные деньги и другие, полученные за товар, он купил небольшое корсарское судно, отлично вооружил его, снабдил всем необходимым для такого дела и принялся присваивать чужое добро, особенно турецкое. В этом деле судьба оказалась ему более благоприятной, чем в торговле: в какой-нибудь год он ограбил и захватил столько турецких кораблей, что, оказалось, он не только вернул все, утраченное им в торговле, но и более чем удвоил свое состояние. Вследствие этого, наученный первым горем утраты и видя себя обеспеченным, он сам себя убедил, дабы не пережить того горя вторично, что ему достаточно того, что есть, и нечего желать большего; поэтому он и решил вернуться со своим достатком домой и, не доверяя товару, он озаботился обратить свои деньги в какие-нибудь ценности, а на том самом судне, на котором их добыл, пошел на веслах в обратный путь.

Когда он был уже в Архипелаге и вечером поднялся сирокко, не только ему противный, но и взволновавший море, чего его крохотное судно не выдержало бы, он зашел в защищенный от того ветра залив, образованный небольшим островом, предполагая выждать здесь ветра более благоприятного. Вскоре вошли туда же с трудом, укрываясь от того же, от чего укрылся и Ландольфо, две большие генуэзские грузовые барки, шедшие из Константинополя. Люди, бывшие на них, увидев судно, загородили ему выход, узнав, кто его хозяин, которого по молве считали богатейшим, и, будучи по природе охочи до денег и грабежа, решились завладеть судном. Высадив на берег часть своих людей, с самострелами в руках и хорошо вооруженных, они поставили их на таком месте, что никто не мог сойти с судна, коли не желал быть застрелен-

ным; сами же, подтянувшись на лодках и пользуясь течением моря, подошли к небольшому судну Ландольфо и с небольшим трудом в короткое время овладели им и всем экипажем, из которого ни один человек не спасся; Ландольфо они перевезли на один из своих кораблей, судно все обобрали и затопили, а Ландольфо оставили в одной жалкой куртке.

На следующий день, когда ветер переменился, грузовые корабли пошли под парусами на запад; весь тот день шли благополучно, но к вечеру поднялся бурный ветер, который, вздымая высокие волны, разъединил один корабль от другого. Случилось, что корабль, на котором находился несчастный бедняк Ландольфо, силою того ветра хвativшись об отмель повыше Кефалонии, дал трещину и разбился вдребезги, точно кусок стекла, брошенный об стену; море покрылось плававшим товаром, ящиками и досками, как обыкновенно бывает в таких случаях; и хотя ночь была темнейшая, а море волновалось и вздулось, несчастные и жалкие люди, кто умел плавать, бросились вплавь и стали цепляться за то, что случайно им попадалось. Между ними был и бедный Ландольфо; за день перед тем он несколько раз взывал к смерти, предпочитая обрести ее, чем вернуться домой нищим, каким себя видел; увидев смерть вблизи, он ужаснулся ее и, подобно другим, схватился за подвернувшуюся ему под руки доску: быть может, он не сразу утонет, а Господь пошлет какую-нибудь помощь в его спасение. Оседлав доску, чувствуя, что море и ветер носят его туда и сюда, он продержался, как мог, до бела дня; когда настал день и он осмотрелся вокруг, ничего иного не увидел, кроме облаков и моря и ящика, который, носясь по морским волнам, иногда к нему приближался, к его великому ужасу, ибо он боялся, как бы ящик не ударился о него и не потопил; всякий раз, когда он подплывал близко, он отдалял его, насколько мог, рукою, как ни мало было у него сил. Как бы то ни было, случилось, что ветер, внезапно разнуждавшись в воздухе и обрушившись на море, так сильно ударил в ящик, а ящик о доску, на которой был Ландольфо, что она перевернулась, Ландольфо, выпустив ее, поневоле ушел под воду и, вынырнув, скорее помощью страха, чем силы, увидел, что доска от него очень далеко; боясь, что ему до нее не достать, он подплыл к ящику, который был вблизи, и, опершись грудью об его крышку, по возможности старался поддержать его руками в прямом положении. Таким-то образом, бросаемый морем туда и сюда, без пищи, ибо есть было нечего, напиваясь более, чем было желательно, не зная, где он, и ничего не видя, кроме моря, он провел весь тот день и следующую ночь. На другой день, по милости ли Божьей, или по воле ветра, он, обратившись почти в губку и крепко державшийся обеими руками за края ящика, как то, мы видим, делают утопающие, хватаясь за любой предмет, пристал у берега острова Корфу, где случайно бедная женщина мыла и чистила песком и морскою водою свою посуду. Заметив его приближение, не разглядев его образа, она в страхе и с криком попятилась назад. Он не в состоянии был говорить, зрение ослабело, почему он ничего и не сказал ей; но когда море понесло его к берегу, она распознала форму ящика, а приглядевшись и всмотревшись пристальнее, признала прежде всего руки, распростертые на ящике, затем лицо и сообразила, что это такое. Поэтому, движимая состраданием, выйдя несколько в море, уже улегшееся, и схватив Ландольфо за волосы, она вытянула его вместе с ящиком на берег; с трудом оттянув его руки от ящика, она взвалила последний на голову бывшей с нею дочери, а Ландольфо, точно малого ребенка, потащила в местечко, посадила в ванну и так его терла и мыла горячей водой, что к нему вернулось утраченное тепло, а отчасти и потерянные силы. Когда ей показалось, что настала пора, она вынула его из ванны, подкрепила хорошим вином и печеньем и продержала его так несколько дней, как могла лучше, пока он, с возвратом сил, не стал сознавать, где он; тогда добрая женщина сочла долгом отдать ему его ящик, который она для него приберегла, и сказать ему, чтобы далее он сам озаботился о себе; так она и сделала. Ландольфо, ничего не помнивший о ящике, тем не менее принял его, когда добрая женщина его принесла; он полагал, что ящик не может же быть столь малоценным, чтобы не окупить ему несколько дней существования; найдя его легковесным, он понизил свои надежды, но тем не менее, когда той женщины не было дома, вскрыл его, чтобы посмотреть, что внутри, и нашел множество драго-

ценных камней, отделанных и нет, а в них он кое-что понимал. Увидев их и познав большую их ценность, он восхвалил Господа, не пожелавшего совсем оставить его, и совершенно утешился; но как человек, в короткое время дважды и жестоко постигнутый судьбою, он сообразил, что ему следует быть крайне осторожным, чтобы довести эти вещи домой; поэтому, завернув их, как сумел, в кое-какие лохмотья, он сказал сострадательной женщине, что ящик ему не нужен, пусть возьмет его, коли хочет, а ему даст мешок. Женщина охотно это сделала, а он, воздав ей какую мог благодарность за оказанное ему благодеяние, взвалил мешок на плечи, удалился и, сев в лодку, переправился в Бриндизи; отсюда, держась берега, дошел до Трани, где встретил несколько своих сограждан, торговцев сукном. Они, почти Бога ради, одели его в свое платье, когда он рассказал им о всех своих приключениях, кроме случая с ящиком; сверх того, ссудили ему коня и дали провожатых до Равелло, куда, по его словам, он желал вернуться. Здесь, почувствовав себя в безопасности и возблагодарив Господа, приведшего его сюда, он развязал мешок и, рассмотрев все с большею внимательностью, чем прежде, нашел, что у него столько камней и такого достоинства, что, если продать их за подходящую и даже меньшую цену, он станет вдвое богаче, чем был при отъезде. Когда ему представился случай сбыть свои камни, он послал хорошую сумму денег в Корфу доброй женщине, извлекшей его из моря, в награду за услугу; то же сделал и относительно тех, кто придел его в Трани; остальное оставил при себе и, не желая более заниматься торговлей, прожил привольно до конца своей жизни.

Новелла пятая

Андреуччио из Перуджии, прибыв в Неаполь для покупки лошадей, в одну ночь подвергается трем опасностям и, избежав всех, возвращается домой владельцем рубина

– Камни, найденные Ландольфо, – так начала Фьямметта, до которой дошла очередь рассказа, – привели мне на память новеллу, не менее полную опасностей, чем новелла Лауретты, но тем от нее отличающуюся, что в той эти опасности приключались, быть может, в течение нескольких лет, в этой, как вы услышите, – в пределах одной ночи.

Жил, слышала я, в Перуджии юноша по имени Андреуччио ди Пьетро, торговец лошадьми; услышав, что в Неаполе они дешевы, он, до тех пор никогда не выезжавший, положил в карман пятьсот золотых флоринов и отправился туда вместе с другими купцами. Прибыв в воскресенье под вечер и осведомившись у своего хозяина, он на другое утро пошел на торг, увидел множество лошадей, многие ему приглянулись, и он приценился к тем и другим, но ни на одной не сошелся в цене, а чтобы показать, что он в самом деле покупатель, как человек неопытный и мало осторожный, он не раз вытаскивал свой кошелек с флоринами напоказ всем приходившим и уходившим. Пока он так торговался и уже успел показать свой кошелек, случилось, что одна молодая сицилианка, красавица, но готовая услужить всякому за недорогою цену, прошла мимо него, так что он ее не видел, а она увидела его кошелек и тотчас же сказала про себя: «Кому бы жилось лучше меня, если бы эти деньги были моими?» И она пошла далее. Была с этой девушкой старуха, также сицилианка; когда она увидела Андреуччио, отстав от девушки и подбежав к нему, нежно его поцеловала; как заметила это девушка, не говоря ни слова, стала в стороне и начала поджидать старуху. Обратившись к ней и признав ее, Андреуччио радушно приветствовал ее; пообещав ему зайти к нему в гостиницу и не заводя долгих речей, она ушла, а Андреуччио вернулся торговаться, но в то утро ничего не купил.

Девушка, заметив сначала кошелек Андреуччио, а затем его знакомство со своей старухой, желая попытаться, нет ли какого средства завладеть теми деньгами совсем или отчасти, принялась осторожно выпытывать, кто он и откуда, что здесь делает и как она с ним познакомилась. Та рассказала ей об обстоятельствах Андреуччио почти столь же подробно, как бы он сам рассказал о себе, так как долго жила в Сицилии у отца его, а потом и в Перуджии; она сообщила ей также, где он пристал и зачем приехал. Вполне осведомившись о его родственниках и их именах, девушка с тонким коварством основала на этом свой расчет – удовлетворить своему желанию; вернувшись домой, она дала старухе работы на весь день, дабы она не могла зайти к Андреуччио, и, позвав свою служанку, которую отлично приучила к такого рода услугам, под вечер послала ее в гостиницу, где остановился Андреуччио. Придя туда, она случайно увидела его самого, одного стоявшего у двери, и спросила у него о нем самом. Когда он ответил, что он самый и есть, она, отведя его в сторону, сказала: «Мессере, одна благородная дама этого города желала бы поговорить с вами, если вам то угодно». Услышав это, он задумался и, считая себя красивым парнем, вообразил, что та дама в него влюбилась, точно в Неаполе не было, кроме него, другого красивого юноши; он тотчас же ответил, что готов, и спросил, где и когда та дама желает поговорить с ним. На это девушка ответила: «Мессере, если вам угодно пойти, она ожидает вас у себя». Ничего не объявив о том в гостинице, Андреуччио поспешно сказал: «Так иди же вперед, я пойду за тобою».

Таким образом служанка привела его к дому той девушки, жившей в улице, называемой Мальпертуджио (Скверная Дыра), каковое прозвище показывает, насколько улица была благопристойна. Ничего о том не зная и не подозревая, воображая, что он идет в приличнейшее место и к милой даме, Андреуччио развязно вступил в дом за шедшей вперед служанкой,

поднялся по лестнице, и когда служанка позвала свою госпожу, сказав: «Вот Андреуччио!» – увидел ее, вышедшую к началу лестницы в ожидании его. Она была еще очень молода, высокая, с красивым лицом, одетая и убранная очень пристойно. Когда Андреуччио подошел ближе, она сошла к нему навстречу три ступеньки с распростертыми объятиями, обвила его шею руками и так осталась некоторое время, не говоря ни слова, точно тому мешал избыток нежного чувства; затем в слезах она поцеловала его в лоб и прерывающимся голосом сказала: «О мой Андреуччио, добро пожаловать!» Изумленный столь нежными ласками, совсем пораженный, он отвечал: «Мадонна, я рад, что вижу вас!» Затем, взяв его за руку, она повела его наверх в свою залу, а оттуда, не говоря с ним ни слова, в свою комнату, благоухавшую розами, цветом померанца и другими ароматами; здесь он увидел прекрасную постель с пологом, много платьев, висевших, по тамошнему обычаю, на вешалках, и другую красивую богатую утварь; почему, как человек неопытный, он твердо уверился, что имеет дело по меньшей мере с важной дамой.

Когда они уселись вместе на скамье у подножия кровати, она принялась так говорить: «Я вполне уверена, Андреуччио, что ты удивляешься и ласкам, которые я тебе расточаю, и моим слезам, так как ты меня не знаешь и, быть может, никогда обо мне не слышал. Но ты тотчас услышишь нечто, имеющее привести тебя в еще большее изумление: это то, что я – сестра твоя. Говорю тебе: так как Господь сделал мне такую милость, что я до моей смерти увидела одного из моих братьев (а как бы желала я увидеть их всех!), нет того часа, в который я не готова была бы умереть, так я утешена. Если ты, быть может, ничего не слышал о том, я расскажу тебе. Пьетро, мой и твой отец, долгое время жил в Палермо, как ты, думаю я, сам мог проводить; и были там и еще есть люди, очень любившие его за его доброту и приветливость; но из всех, так любивших его, мать моя, женщина хорошего рода и тогда вдова, любила его более всех, так что, отложив страх перед отцом и братьями и боязнь за свою честь, настолько сошлась с ним, что родилась я, – ты видишь какая. Затем, когда по обстоятельствам Пьетро покинул Палермо и вернулся в Перуджию, он оставил меня, еще девочкой, с моей матерью и никогда, насколько я слышала, ни обо мне, ни о ней более не вспоминал. Не будь он мне отцом, я сильно попрекнула бы его за то, имея в виду неблагодарность, оказанную им моей матери (я оставляю в стороне любовь, которую ему следовало питать ко мне, как к своей дочери, прижитой не от служанки или негодной женщины), которая отдала в его руки все свое достояние и себя самое, не зная даже, кто он такой, и побуждаемая преданнейшей любовью. Но к чему говорить о том? Что дурно сделано, да и давно прошло, то гораздо легче порицать, чем поправить; так или иначе, но случилось именно так. Еще девочкой он оставил меня в Палермо, и когда я выросла почти такой, как меня видишь, моя мать, женщина богатая, выдала меня замуж за родовитого, хорошего человека из Джирженти, который, из любви к моей матери и ко мне, переехал на житье в Палермо. Там, как рьяный гвельф, он завел некие сношения с нашим королем Карлом, о чем, прежде чем они возымели действие, доведалься король Федерико, это было причиной нашего бегства из Сицилии – в то время, как я надеялась стать знатнейшей дамой, какие только были на том острове. Итак, захватив немного, что могли взять (говорю: немного по отношению к многому, что было нашим), покинув имения и дворцы, мы удалились в этот город, где нашли короля Карла столь признательным к нам, что он вознаградил отчасти за убытки, понесенные нами ради него, дал нам поместья и дома и постоянно дает моему мужу, а твоему зятю, большие средства, как ты еще увидишь. Таким образом, я здесь, где по милости Божией, не твоей, вижу и тебя, мой милый братец». Так сказав, она снова обняла его и, проливая сладкие слезы, опять поцеловала его в лоб.

Когда Андреуччио выслушал эту басню, так связно и естественно рассказанную, причем у рассказчицы ни одно слово ни разу не завязло в зубах и не запинался язык; когда он вспомнил, что его отец в самом деле был в Палермо, зная по себе нравы юношей, охотно в молодости предающихся любви, видя нежные слезы и скромные объятия и поцелуи, он принял все, что она рассказала ему, более чем за истину, и когда она умолкла, ответил: «Мадонна, вам не

должно показаться странным, если я удивлен, потому что в самом деле мой отец, почему бы то ни было, никогда не говорил о вашей матери, ни о вас, либо если и говорил, то до моего сведения это не дошло, и я ничего не знал о вас, как будто вас и не было; тем милее мне было обрести в вас сестру, чем более я здесь одинок и чем менее того чаял. По правде, я не знаю такого высокопоставленного человека, которому вы не были бы дороги, не то что мне, мелкому торговцу. Но разъясните мне, пожалуйста, как вы узнали, что я здесь?» На это она отвечала: «Сегодня утром мне рассказала о том одна бедная женщина, часто ходящая ко мне, ибо, по ее словам, она долгое время была при нашем отце в Палермо и Перуджии; и если бы мне не казалось более пристойным, чтобы ты явился в мой дом, чем я к тебе в чужой, я давно бы пришла к тебе». После этих речей она принялась подробно и поименно расспрашивать его о его родных, и Андреуччио о всех ответил; и это еще пуще побудило его поверить тому, во что верить следовало всего менее.

Так как беседа была долгая и жара большая, она велела подать греческого вина и лакомств и поднести Андреуччио; когда после того он собрался уходить, ибо было время ужина, она никоим образом не допустила до того и, притворившись сильно огорченной, сказала, обнимая его: «Увы мне! Теперь я вижу ясно, как мало ты меня любишь; кто бы мог поверить, что ты у сестры, никогда тобою дотоле не виданной, в ее доме, где должен был бы и остановиться по приезде, – а хочешь уйти отсюда и отправиться ужинать в гостиницу! Не правда ли, ты поужи-наешь со мной? И хотя моего мужа нет дома, что мне очень неприятно, я сумею, по мере жен-ских сил, учествовать тебя хоть чем-нибудь». Не зная, что другое ответить, Андреуччио ска-зал: «Я люблю тебя, как подобает любить сестру, но если я не пойду туда, меня прождут целый вечер, и я сделаю невежливость». Тогда она сказала: «Боже мой, точно у меня дома нет никого, с кем бы я могла послать сказать, чтобы тебя не ждали! Хотя большею любезностью с твоей стороны и даже долгом было бы – послать сказать твоим товарищам, чтобы они пришли сюда поужинать; а там, если бы ты все-таки захотел уйти, вы могли бы отправиться вместе». Андреуччио ответил, что без товарищей он в этот вечер обойдется и что, коли ей так угодно, пусть располагает им по своему желанию. Тогда она показала вид, будто послала в гостиницу, дабы его не ждали к ужину; затем, после разных других разговоров, они уселись за роскош-ный ужин из нескольких блюд, который она хитро затянула до темной ночи. Когда встали из-за стола и Андреуччио пожелал удалиться, она сказала, что не допустит этого ни под каким видом, потому что не такой город Неаполь, чтобы ходить по нем ночью, особенно иностранцам; и что, посылая сказать, чтобы его не ждали к ужину, она сделала то же и относительно ночлега. Он поверил этому и, так как, вследствие ложного о ней представления, ему было приятно быть с нею, остался. После ужина завелись многие и долгие, не без причины, разговоры, уже прошла часть ночи, когда, оставив Андреуччио на ночлег в своей комнате и при нем мальчика, чтобы указать ему, коли что потребуется, она с своими служанками удалилась в другой покой.

Жар стоял сильный, потому Андреуччио, оставшись один, тотчас же разделся до сорочки, снял штаны, которые положил у изголовья, и так как у него явилась естественная потребность освободить желудок от излишней тяжести, спросил у мальчика, где это совершается; тот пока-зал ему в одном из углов комнаты дверцу, сказав: «Войдите туда». Андреуччио пошел уве-ренно, но случайно ступил ногою на доску, другой конец которой оторван был от перекладины, на которой он стоял, вследствие чего доска поднялась, а вместе с нею провалился и он; так милостив был к нему Господь, что он не потерпел при падении, хотя упал с некоторой высоты, зато весь выпачкался в нечистотах, которыми полно было то место.

Как оно было устроено, это я расскажу вам, дабы вы лучше поняли рассказанное и то, что последовало: в узком проходе на двух перекладинах, шедших от одного дома к другому, прибито было, как то мы часто видим между двумя домами, несколько досок и на них устроено сиденье; одна из этих досок и свалилась вместе с Андреуччио. Обретаясь в глубине прохода, опечаленный этим происшествием, он стал звать мальчика; но мальчик, услышав, как он упал,

побежал сказать о том своей госпоже; та бросилась в комнату Андреуччио и тотчас же принялась искать, тут ли его платье; найдя его и в нем деньги, которые он, никому не доверяя, по глупости всегда носил с собою, и получив то, чему расставила западню, став из палермитянки сестрою перуджинца, она, более о нем не заботясь, поспешила запереть дверь, которой он вышел, когда упал. Когда мальчик не отвечал, Андреуччио стал звать его громче; но это не вело ни к чему. Потому в нем уже зародилось подозрение, и он начал, хотя и поздно, догадываться об обмане; вскарабкавшись на низкую стену, замыкавшую проход с улицы, и спустившись на нее, он направился к двери дома, хорошо ему знакомой, и здесь долго и напрасно звал, рвался и стучал. Пустившись в слезы, как человек, ясно понявший свое несчастье, он стал так говорить: «Увы мне, бедному, в какое короткое время лишился я пятисот флоринов – и сестры!» После многих других слов он снова принялся стучать в дверь и кричать, да так, что многие из ближайших соседей, проснувшись, встали, не будучи в силах вынести такой докучи, а одна из служанок той женщины, с виду совсем заспанная, подойдя к окну, сказала бранчиво: «Кто там стучится внизу?» – «Разве ты не узнаешь меня? – сказал Андреуччио. – Я Андреуччио, брат мадонны Фьордолизо!» А она ему в ответ: «Если ты слишком выпил, дружок, пойди и проспись, завтра вернешься; я не знаю, какой там Андреуччио и какой вздор ты несешь; ступай в добрый час и дай нам, пожалуйста, спать». – «Как! – сказал Андреуччио. – Ты будто не знаешь, о чем я говорю? Наверно, знаешь; но, уже если таково сицилианское родство, что забывается в столь короткое время, так отдай мне по крайней мере мое платье, которое я у вас оставил, и я готов уйти с Богом». На это она сказала, чуть не смеясь: «Милый мой, мне кажется, ты бредишь». Сказать это, отойти и запереть окно было делом одного мига. Это окончательно убедило Андреуччио в его утратах; горе едва не обратило его великий гнев в ярость, и он решился добыть насилием, чего не мог вернуть словами; потому, схватив большой камень, он снова принялся бешено колотить в дверь, нанося гораздо большие удары, чем прежде. По этой причине многие из соседей, уже прежде разбуженные и вставшие, полагая, что какой-нибудь невежа выдумывает небылицы, чтобы досадить порядочной женщине, и рассерженные стуком, который он производил, высунулись в окна и принялись голосить, точно собаки с другой улицы лают на чужую: «Большое невежество – явиться в такой час к дому честных женщин с такой болтовней! Ступай-ка с Богом, любезный, дай нам, пожалуйста, спать; если у тебя есть до нее дело, придешь завтра, а сегодня ночью не учиняй нам такого беспокойства». Подбодренный, быть может, этими словами, кто-то бывший в доме, сводник той женщины, которого Андреуччио не видел и о котором не слыхал, подошел к окну и голосом сильным, страшным и грозным сказал: «Кто там внизу?» Андреуччио, подняв голову на голос, увидел кого-то, показавшегося ему, насколько он мог разглядеть, ражим детиной, с черной густой бородой; точно он встал с постели после глубокого сна, он зевал и протирал глаза. Андреуччио отвечал не без некоторого страха: «Я – брат дамы, что в этом доме». Но тот не выждал конца ответа Андреуччио, напротив, грознее прежнего сказал: «Не понимаю, что меня удерживает сойти и дать тебе столько ударов палкой, сколько нужно, чтобы ты не двинулся. Осел ты надоедливый, видно, что пьяница, не даешь нам поспать в эту ночь». И, отойдя, он захлопнул окно. Некоторые из соседей, лучше знавшие, что то был за человек, дружески сказали Андреуччио: «Бога ради, любезный, уходи с Богом, не напрашивайся быть здесь убитым ночью; уходи, лучше будет». Вследствие этого, испуганный голосом и видом того человека и побуждаемый убеждениями людей, говоривших, казалось, из сострадания к нему, огорченный, как только может быть человек, и отчаявшись в деньгах, Андреуччио, идя в направлении, по которому днем, сам не зная куда, следовал за служанкой, пошел по дороге к гостинице. Так как ему самому неприятен был запах, от него исходивший, и он задумал повернуть к морю, дабы омыться, он взял влево и пошел по улице, называемой Каталонской. Когда он шел к верхней части города, случайно увидел впереди двух человек, направлявшихся к нему с фонарями в руках. Опасаясь, что это сыщики либо какие злонамеренные люди, он, избегая их, тихонько спрятался в пустом строении, кото-

рое увидел поблизости; но те, точно посланные нарочно, вошли в тот же дом, и здесь один из них, свалив с плеч какие-то железные орудия, принялся вместе с другим осматривать их и говорить о них то и другое. Когда они беседовали, один из них сказал: «Что бы это значило? Я чувствую такую сильную вонь, какую никогда не ощущал». Сказав это, он поднял немного фонарь, и они увидели беднягу Андреуччио и в изумлении окликнули: «Кто там?» Андреуччио смолчал, но они, приблизившись к нему с фонарем, спросили, что он тут делает такой запачканный. Андреуччио объяснил им в полноте все, что с ним приключилось. Те, сообразив, где это могло с ним случиться, сказали друг другу: «Наверно это было в доме Скарабоне Буттафуоко». Обратившись к Андреуччио, один из них сказал: «Хотя ты потерял деньги, любезный, но тебе следует много возблагодарить Господа, что случайно ты упал и не мог потом вернуться в дом, ибо если б ты не свалился, будь уверен, что, как только ты заснул бы, тебя бы убили и вместе с деньгами ты утратил бы и жизнь. Но теперь плакаться не поможет; вернуть копейку – то же, что достать звезд с неба; а убить тебя могут, если тот прослышит, что ты когда-нибудь обронишь о том слово». Сказав это и немного посоветовавшись друг с другом, они обратились к нему: «Вот видишь ли, у нас явилась к тебе жалость: потому, если бы ты помог нам в одном деле, на которое мы снарядились, мы вполне уверены, что на твою долю придется нечто гораздо более ценное, чем то, что ты утратил». Андреуччио, как человек отчаявшийся, ответил, что он готов.

В тот день похоронили неаполитанского архиепископа, по имени мессер Филиппе Минутоло, похоронили в богатейших украшениях и с рубином в перстне, стоившем более пятисот флоринов; они и хотели пойти ограбить покойника и так разъяснили Андреуччио свой замысел. И вот Андреуччио, более из жадности, чем по разуму, отправился вместе с ними; когда они шли к главной церкви, а от Андреуччио сильно пахло, один из них сказал: «Как бы нам устроить, чтобы он немного помылся где бы то ни было, дабы от него не несло так страшно?» Другой сказал: «Да вот у нас поблизости колодец, при нем обыкновенно блок и большая бадья, пойдем туда и вымоем его поскорее». Придя к колодцу, они нашли веревку, но бадья была унесена, потому они решились привязать его к веревке и спустить в колодец; пусть вымоется внизу, и когда это сделает, дернет за веревку, они его и поднимут. Так и сделали. Случилось так, что, когда они спустили его в колодец, несколько служителей синьории, ощутив жажду от жары или потому, что гонялись за кем-нибудь, направились к колодцу, чтобы напиться. Когда те двое увидели их, тотчас же бросились бежать, так что сыщики, шедшие, чтобы напиться, их не заметили. Когда Андреуччио обмылся в глубине колодца, дернул за веревку; томимые жаждой, те люди сложили свои щиты, оружие и плащи и начали тянуть веревку, полагая, что на конце прицеплена бадья, полная воды. Когда Андреуччио увидел себя у краев колодца, он ухватился за них руками, отпустив веревку; увидев это, объятые внезапным страхом, те, не говоря ни слова, бросили веревку и принялись изо всех сил бежать. Сильно удивился тому Андреуччио и, если б хорошенько не удержался, упал бы на самое дно, быть может, не без вреда для себя или смертного случая; выйдя и увидя оружие, которого, как ему было известно, у его товарищей не было, он пришел в еще большее изумление. Сомневаясь и недоумевая и сетуя на свою судьбу, не тронув ничего, он решился уйти и пошел, сам не зная куда. На пути встретился с двумя своими товарищами, шедшими вытащить его из колодца; увидев его и сильно удивившись, они спросили его, кто вытянул его из колодца. Андреуччио отвечал, что не знает, и рассказал по порядку все, как было, и что он нашел у колодца. Догадавшись в чем дело, те, смеясь, рассказали ему, почему они убежали и кто те люди, которые его вытащили; не тратя более слов, ибо была уже полночь, они отправились к главной церкви, куда легко проникли, и, подойдя к гробнице, мраморной и больших размеров, своим железным инструментом настолько приподняли тяжелую крышку, чтобы можно было пролезть человеку, и подперли ее. Когда это было сделано, один из них начал говорить: «Кому туда полезть?» Другой отвечал: «Не мне». – «И не мне, – сказал тот, – пусть ползет Андреуччио». – «Этого я не сделаю», – сказал Андре-

уччио, но те, обратившись к нему вдвоем, сказали: «Как не полезешь? Ей-богу, коли ты не пойдешь, мы так наколотим тебе голову этими железными кольями, что уложим мертвым». Андреуччио, из страха, полез и, влезая, подумал про себя: «Эти люди велют мне войти, чтобы обмануть меня, потому что, когда я передам им все и с трудом буду выбираться из гробницы, они уйдут себе по своим делам, а я останусь ни с чем». И вот он надумал заблаговременно взять свою долю; вспомнив о драгоценном перстне, о котором, он слышал, они говорили, как только спустился, снял его с пальца архиепископа и надел на свой; затем подал им посох и митру и перчатки, раздев покойника до сорочки, все им передал, говоря, что более ничего нет. Те утверждали, что там должен быть и перстень, пусть поищет повсюду; но он отвечал, что не находит его, и, показывая вид, будто ищет, подержал их некоторое время в ожидании. Они, с своей стороны, не менее хитрые, чем он, велели ему поискать хорошенько и, улучив время, выдернули подпорку, на которой держалась крышка, и убежали, оставив его в гробнице.

Каково было Андреуччио, когда он это услышал, всякий может себе представить. Несколько раз пытался он головой и плечами, как бы ему приподнять крышку, но труд был напрасен; потому, удрученный тяжелым горем, он в обмороке упал на труп архиепископа, и кто бы их тогда увидал, с трудом распознал бы, кто из них более мертв, архиепископ или он. Когда он пришел в себя, начал плакать навзрыд, увидев, что ему, без сомненья, не миновать одного из двух: либо умереть с голода и от вони среди червей мертвого тела, если никто более не придет открыть гробницу, либо, если придут и найдут его в ней, быть повешенным, как грабитель. Когда он был в таких мыслях и сильной печали, услышал, что по церкви ходят и говорят многие, пришедшие, как он догадался, за тем же делом, за каким приходил и он с своими товарищами. Его страх от того усилился. Но когда те вскрыли гробницу и поставили подпорку, стали спорить, кому туда войти, и никто не решался; наконец, после долгого препирательства один священник сказал: «Чего вы боитесь? Уж не думаете ли вы, что он вас съест? Мертвецы не едят живых; я войду туда». Так сказав, опершись грудью на край гробницы и отведя голову вне, он спустил ноги внутрь, чтобы влезть. Увидя это, Андреуччио приподнялся и схватил священника за ногу, как бы желая стащить его вниз. Почувствовав это, священник испустил сильнейший крик и быстро выскочил из гробницы; все остальные, испуганные этим, оставили ее открытой и пустились бежать, как будто за ними гналось сто тысяч дьяволов. Увидав это, обрадованный сверх ожидания, Андреуччио тотчас же выскочил и вышел из церкви тем же путем, каким вошел. Между тем наступил и день; идя наудачу, с перстнем на пальце, Андреуччио добрался до морского берега, а затем набрел и на свою гостиницу, где нашел, что и его товарищи, и хозяин всю ночь беспокоились о том, что с ним случилось. Когда он рассказал им, что с ним было, совет хозяина был, чтоб он немедленно покинул Неаполь, что он тотчас же и сделал, и вернулся в Перуджию, обратив перстень в деньги, с которыми отправился покупать лошадей.

Новелла шестая

Мадонна Беритола найдена на одном острове с двумя ланями, после того как потеряла двух сыновей; отправляется в Луниджьяну, где один из ее сыновей поступает в услужение к властителю страны, слюбился с его дочерью и посажен в тюрьму. Сицилия восстает против короля Карла; сын, узнанный матерью, женится на дочери своего господина; его брат найден, и оба возвращаются в прежнее высокое положение

Дамы, а равно и юноши много смеялись над приключениями Андреуччио, рассказанными Фьямметтой, когда Емилия, увидав, что новелла пришла к концу, по приказанию королевы, начала так: – Тяжелы и докучливы разнообразные превратности судьбы, и так как всякая беседа о них вызывает пробуждение духа, легко засыпающего под ее ласки, я полагаю, что никогда не лишне послушать о них счастливым и несчастным, настолько первых это делает осторожными, а вторых утешает. Потому, хотя об этом уже много было говорено ранее, я намерена рассказать вам по тому же поводу новеллу не менее правдивую, чем трогательную; ее развязка весела, но такова была скорбь и так продолжительна, что едва верится, что она смягчилась последовавшей радостью.

Вы должны знать, милейшие дамы, что по смерти императора Фридриха II королем Сицилии был венчан Манфред, при котором высокое положение занимал один родовитый человек из Неаполя, по имени Арригетто Капече; у него была красивая и родовитая жена, также неаполитанка, по имени мадонна Беритола Караччьола. Когда Арригетто держал в своих руках управление островом и слышал, что король Карл I победил и убил Манфреда при Беневенте и все королевство ему поддавалось, он, мало уповая на шаткую верность сицилианцев и не желая стать подданным врага своего повелителя, приготовлялся к бегству; но сицилианцы о том проводили, и он и многие другие друзья и служители короля Манфреда были внезапно преданы, как пленники, королю Карлу, а затем передана ему и власть над островом. В таком изменении вещей, не зная, что случилось с Арригетто, и постоянно опасаясь того, что и приключилось, мадонна Беритола, боясь позора, покинула все, что имела, и, сев в лодку с своим, может быть восьмилетним сыном, по имени Джьусфреди, бедная и беременная, удалилась на Липари, где родила другого мальчика, которого называли Скаччъято (изгнанник); здесь, взяв кормилицу, она со всеми своими села на небольшое судно, чтобы вернуться в Неаполь к своим родным. Но вышло иначе, чем она предполагала, ибо силой ветра судно, имевшее пойти в Неаполь, было отнесено к острову Понца, где, войдя в один небольшой морской залив, они стали выжидать времени, благоприятного для путешествия. Сойдя вместе с другими на остров и найдя на нем уединенное в стороне место, мадонна Беритола осталась здесь одна, чтобы поплакать о своем Арригетто. Таким образом она делала каждый день; случилось, что пока она предавалась своим сетованиям, подошла галера корсаров, так что ни корабельщик и никто другой того не приметил, преспокойно забрала всех и удалилась. Когда, по окончании сетования, мадонна Беритола вернулась к берегу, чтобы поглядеть на детей, как то делала обычно, никого там не нашла. Сначала она удивилась тому, затем, внезапно догадавшись, что случилось, вперила глаза в море и увидела галеру, еще не далеко ушедшую и увлекавшую за собой ее судно. Тут она ясно поняла, что потеряла не только мужа, но и детей; увидя себя бедной, одинокой, оставленной, не зная, придется ли ей найти кого-либо из них, она, призывая мужа и сыновей, упала на берег без сознания. Не было там никого, кто бы холодной водой или другим средством снова призвал к ней оставившие ее силы, почему ее дух мог свободно блуждать по произволу; но когда к ее жалкому телу вернулись, вместе с слезами и воплями, утраченные силы, она долго звала детей и пристально обыскивала каждую пещеру. Когда она поняла, что ее труд напрасен, и увидела,

что ночь наступает, она, все еще надеясь, сама не зная на что, стала помышлять о себе и, отойдя от берега, вернулась в ту пещеру, где приобыкла плакать и горевать. Когда прошла ночь в большом страхе и неопisanном горе, наступил следующий день и уже прошел третий час, она, не поужинав перед тем вечером и побуждаемая голодом, принялась есть траву; поев, как могла, она, плача, отдалась различным мыслям о своей будущей судьбе. Пока она находилась в таком раздумье, увидела, как в одну пещеру неподалеку вошла лань, вышла оттуда по некотором времени и побежала в лес. Встав и войдя туда, откуда выбежала лань, она увидела двух ланят, рожденных, вероятно, в тот же день; они представились ей самыми милыми и хорошенькими созданиями в свете, и так как после недавних родов молоко у нее еще не иссякло, она бережно взяла ланят и приложила к своей груди. Не отказываясь от такого предложения, они начали сосать ее, как сосали бы мать, и с тех пор не делали никакого различия между ней и матерью. Таким образом, достойная женщина вообразила, что она нашла в пустыне хоть какое-нибудь общество; питаясь травой, водой утоляя жажду, порой плача, когда вспоминала о муже и детях и своей прошлой жизни, она решила здесь жить и умереть, не менее привязавшись к ланятам, чем к своим сыновьям.

Когда благородная дама пребывала таким образом, уподобившись зверям, случилось через несколько месяцев, что пизанское судно занесено было бурей туда же, куда и она прежде пристала, и пробыло там несколько дней. Был на том судне родовитый человек, по имени Куррадо, из рода маркизов Малеспини, с своей женой, достойной и святой женщиной; они совершили паломничество ко всем святым местам, какие есть в королевстве Апулии, и возвращались домой.

Однажды, чтобы отвести скуку, Куррадо с женой, несколькими слугами и собаками отправились внутрь острова; недалеко от места, где находилась мадонна Беритола, собака Куррадо стала гнать двух ланят, которые, уже подросши, ходили и паслись; преследуемые собаками, они пустились бежать не в иное какое место, как в пещеру, где была мадонна Беритола. Увидев это, вскочив и схватив палку, она прогнала собак, а тут подошел Куррадо с женой, следуя за собаками: увидев женщину, почерневшую, похудевшую и обросшую волосами, они дались диву, а она удивилась им и того более. Когда по ее просьбе Куррадо отозвал своих собак, после многих увещеваний, убедили ее сказать, кто она и что здесь делает, и она подробно открыла им свое положение, все приключения и свое суровое намерение. Как услышал это Куррадо, очень хорошо знавший Арригетто Капече, заплакал от жалости и многими речами ттился отвлечь ее от столь жестокого решения, предлагая ей отвезти ее в свой дом и держать в чести, как бы свою сестру; пусть останется с ними, пока Господь не пошлет ей в будущем более счастливой доли. Когда мадонна Беритола не склонилась на эти предложения, Куррадо оставил с ней свою жену, сказав ей, чтобы она велела принести чего-нибудь поесть, одела бы ее, всю оборванную, в одно из своих платьев и сделала бы все, чтобы увезти ее с собою. Оставшись с нею, достойная дама, вдвоем оплакав вместе с мадонной Беритолой ее несчастья, распорядилась доставлением одежды и еды и с величайшим в свете усилием убедила ее одеться и поесть; под конец, после многих просьб, уговорила ее, заявившую о своем нежелании пойти куда бы то ни было, где бы ее знали, отправиться с ними в Луниджьяну вместе с двумя ланятами и ланью, которая между тем вернулась и, не без великого изумления достойной дамы, стала весело ласкаться к мадонне Беритоле. И вот, когда наступила благоприятная погода, мадонна Беритола села на корабль вместе с Куррадо и его женой, с ними лань и двое ланят (по которым и мадонну Беритолу, имя которой не все знали, прозвали Кавриолой, то есть Ланью); с попутным ветром они скоро дошли до устья Магры, где, сойдя на берег, отправились в свои замки. Здесь стала жить мадонна Беритола при жене Куррадо, будто ее прислужница, во вдовьем наряде, честная, скромная и послушная, питая ту же любовь к своим ланятам и заботясь об их питании.

Корсары, захватившие в Понцо корабль, на котором приехала мадонна Беритола, не захватили ее, ибо не заметили, а со всеми другими отправились в Геную; здесь, когда разде-

лили добычу между хозяевами галеры, случилось так, что в числе прочего на долю некоего мессера Гаспаррино д'Ориа досталась мамка мадонны Беритолы и при ней двое мальчиков; тот послал ее с детьми к себе домой, чтобы держать их в качестве слуг для домашнего обихода. Мамка, безмерно опечаленная утратой своей госпожи и бедственным положением, в каком видела себя и двух ребят, долго плакала; но, уразумев, что слезы ничему не помогут и что она вместе с ними в рабстве, как женщина умная и рассудительная, хотя и бедная, она прежде всего, как сумела, подбодрилась; затем, обсудив положение, в каком они очутились, рассчитала, что если узнают о звании обоих мальчиков, от того легко может последовать для них что-нибудь нехорошее; кроме того, надеясь, что судьба когда бы то ни было переменится и они будут в состоянии, коли доживут, вернуться в утраченное ими положение, она решила никому не обнаруживать, кто они, пока не настанет на то время, и всем говорила, кто о том ее допрашивал, что это – ее дети. Старшего прозвали не Джьусфреди, а Джьяннотто из Прочиды, а меньшему она не озаботилась переменить имя и много старания приложила, чтобы объяснить Джьусфреди, почему она изменила его имя и в каком опасном положении он может очутиться, если его узнают. Об этом она напоминала ему не однажды, а несколько раз и очень часто, и тот, как разумный мальчик, отлично следовал наставлениям мудрой мамки. Таким образом, дурно одетые, еще хуже обутые, отправлявшие всякую низменную работу, оба мальчика, а с ними и мамка, терпеливо прожили несколько лет в доме мессера Гаспаррино. Но у Джьяннотто, уже шестнадцатилетнего, дух был более мужественный, чем какой приличествует слуге; презрев низость рабского состояния, он ушел с галерами, шедшими в Александрию, и, покинув службу у мессера Гаспаррино, ходил в разные места, но нигде не успел пробиться. Под конец, может быть, три или четыре года спустя по своем уходе от мессера Гаспаррино, когда он стал красивым, рослым юношей, он услышал, что его отец, которого он считал умершим, еще жив, но в тюрьме и в плену у короля Карла. Почти отчаявшийся в своей доле, ведя бродячую жизнь, он добрался до Луниджьяны, где случайно попал в служение к Куррадо Малеспина, которому прислуживал очень умело и в его удовольствие. И хотя он изредка видел свою мать, бывшую при жене Куррадо, ни разу не признал ее, ни она его: так время изменило их обоих сравнительно с тем, какими они были, когда виделись в последний раз. Когда таким образом Джьяннотто был на службе у Куррадо, случилось, что одна дочь Куррадо, по имени Спина, оставшись вдовою по смерти Никколо да Гриньяно, вернулась в дом отца, красивая и милая, молодая, не многим более шестнадцати лет; случайно она загляделась на Джьяннотто, он на нее, и оба страстно влюбились друг в друга. И любовь эта недолго оставалась бесплодной, и много месяцев прошло прежде, чем о том кто-либо догадался. Слишком уверившись в этом, они стали вести себя менее сдержанно, чем подобало в таких делах; однажды, когда молодая женщина и Джьяннотто гуляли по прелестному густому лесу, они, оставив остальное общество, прошли далее, и так как им показалось, что они далеко других опередили, они уселись в прекрасном местечке, полном травы и цветов и окруженном деревьями, и отдались радостям взаимной любви. И, хотя они пробыли здесь долгое время, от великого наслаждения оно показалось им очень коротким, почему они и были застигнуты сначала матерью молодой женщины, потом Куррадо. Безмерно огорченный виденным им, он, не говоря ни слова о причине, велел трем своим слугам схватить обоих и повести связанных в один из своих замков, а сам, трепеща от гнева и негодования, собирался подвергнуть обоих постыдной смерти. Мать молодой женщины, хоть и сильно взволнованная и считавшая дочь достойной всякого жестокого наказания за ее проступок, поняла из некоторых слов Куррадо, что он затевает против виновных; не будучи в состоянии вынести этого, она поспешила к разгневанному мужу и начала просить его, чтобы он не спешил неистово предаться желанию – стать на старости убийцей дочери и замарать руки в крови своего слуги, а нашел бы другой способ удовлетворить своему гневу, велев, например, заключить их, дабы они помучились и оплакали совершенный ими грех. Такие и многие иные речи держала ему благочестивая женщина, пока он не отложил намерения умертвить их, при-

казав заключить их по отдельным местам, и, при малой пище и больших неудобствах, стеречь, пока он не примет относительно их другого решения, что и было сделано. Какова была их жизнь в заточении, неустанных слезах и постах, более продолжительных, чем им было желательно, каждый может себе представить.

Когда таким образом Джьяннотто и Спина вели столь печальную жизнь и пробыли там уже год, а Куррадо не вспоминал о них, случилось, что король Пьетро Аррагонский, в согласии с мессером Джьяно ди Прочиди, возмутил остров Сицилию и отнял ее у короля Карла, чему Куррадо, как гибеллин, очень обрадовался. Когда Джьяннотто услышал о том от одного из тех, кто его сторожил, глубоко вздохнув, сказал: «Увы мне, бедному! Прошло четырнадцать лет, как я брожу в жалком виде по свету, ничего другого не ожидая, как этого события; теперь, как бы затем, чтобы мне нечего было более надеяться на удачу, оно совершилось, застав меня в тюрьме, откуда я не надеюсь выйти иначе, как мертвым!» – «Что такое? – спросил тюремщик. – Что тебе в том, что творят величайшие короли? Какое у тебя было дело в Сицилии?» На это Джьяннотто сказал: «Кажется, у меня сердце разорвется, как вспомню я, чем был там мой отец; хотя я был еще маленьким ребенком, когда бежал, но еще помню, что он был всему господином при жизни короля Манфреда». Тюремщик продолжал: «А кто был твой отец?» – «Моего отца, – отвечал Джьяннотто, – я могу теперь спокойно назвать, ибо вижу себя в опасности, в какую боялся впасть, назвав его. Его называли и еще зовут, коли он жив, Арригетто Капече, а мое имя не Джьяннотто, а Джьусфреди; и я ничуть не сомневаюсь, что если бы я вышел отсюда и вернулся в Сицилию, у меня было бы там высокое положение». Не пускаясь в дальнейший разговор, сторож, как только улучил время, все рассказал Куррадо.

Как услышал это Куррадо, не показав тюремщику, что это его интересует, отправился к мадонне Беритоле и спросил по-дружески, был ли у нее от Арригетто сын, по имени Джьусфреди. Та отвечала в слезах, что если бы старший из двоих сыновей, которые у нее были, находился еще в живых, имя ему было бы такое и было бы ему двадцать два года. Услышав это, Куррадо догадался, что это тот самый, и ему пришло на мысль, что, если все так, он может в одно и то же время учинить великое дело милосердия и снять стыд с себя и дочери, выдав ее за того юношу. Потому, тайно приказав позвать к себе Джьяннотто, он подробно расспросил его об его прошлой жизни. Найдя по многим признакам, что он в самом деле Джьусфреди, сын Арригетто Капече, он сказал: «Джьяннотто, ты знаешь, какое и сколь великое оскорбление ты нанес мне в лице моей дочери, тогда как я обходился с тобою хорошо и по-дружески, как следует с слугами, и ты обязан был всегда искать и содействовать моей чести и чести моих. Многие другие предали бы тебя постыдной смерти, если б ты учинил им то, что сделал мне; но до этого не допустило меня мое сострадание. Теперь, когда оказывается, как ты говоришь, что ты сын родовитого человека и родовитой женщины, я хочу положить, коли ты сам того желаешь, конец твоим страданиям, извлечь тебя из бедствий и неволи и в одно и то же время восстановить твою и мою честь в подобающей мере. Как ты знаешь, Спина, которую ты овладел в любовной, хотя как тебе, так и ей, неприличной страсти, – вдова; у нее большое, хорошее приданое; каковы ее нравы, отец и мать – ты знаешь; о твоём настоящем положении я ничего не говорю. Потому, коли хочешь, я согласен, чтобы она, быв непочестным образом твоей любовницей, стала честным порядком тебе женой и чтобы ты в качестве моего сына оставался здесь со мною и с ней, сколько тебе заблагорассудится».

Тюрьма заставила Джьяннотто исхудать телом, но ни в чем не тронула его доблестного от рождения духа, ни полноты любви, которую он питал к своей милой; и хотя он страстно желал того, что предлагал ему Куррадо, и видел себя в его власти, тем не менее ни в одну сторону не удалился от того, что подсказало ему в ответ его великодушие, и ответил: «Куррадо, ни жажда власти, ни страсть к деньгам и никакая другая причина никогда не побуждали меня злоумышлять, как предатель, ни против твоей жизни, ни против того, что твое. Я любил твою дочь, люблю и буду любить всегда, ибо считаю ее достойной своей любви; и если я сошелся с

нею менее чем честным образом, как то думают простецы, я совершил грех, всегда присущий молодости, желая устранить который, пришлось бы уничтожить и молодость; если бы старики пожелали вспомнить, что были юношами, и проступки других измерили собственными, а свои чужими, то и мой грех не показался бы столь тяжким, каким считаешь его ты и многие другие; да и совершил я его как друг, а не как недруг. Того, что ты предлагаешь мне устроить, я всегда желал, и если бы я думал, что это мне позволят, давно бы о том попросил; теперь это будет мне тем милее, чем менее было на то надежды. Если у тебя нет намерения, какое обличают твои слова, то не питай меня ложной надеждой, вели меня вернуть в тюрьму и там удручить меня сколько тебе угодно, ибо как я буду любить Спину, буду из-за любви к ней всегда любить и тебя и питать к тебе уважение». Выслушав его, Куррадо удивился, счел его за человека великодушного, его любовь искреннею, и он стал ему тем милее. Поднявшись, он обнял и поцеловал его и, недолго мешкая, распорядился, чтобы сюда же тайным образом привели и Спину. Она побледнела, похудела и ослабела в тюрьме и казалась не той женщиной, какой была прежде, да и Джьяннотто казался другим человеком; в присутствии Куррадо они, по обоюдному согласию, заключили брачный союз по нашему обычаю. После того как в течение нескольких дней, когда никто еще не узнал о происшедшем, он велел доставлять им все, что им было нужно и желательно, и ему показалось, что настало время обрадовать их матерей; позвав свою жену и Кавриолу, он так обратился к ним: «Что сказали бы вы, мадонна, если бы я вернул вам вашего старшего сына – мужем одной из моих дочерей?» На это Кавриола отвечала: «Ничего иного я не могла бы вам ответить на это, как то, что если бы я могла быть еще паче обязанной вам, чем теперь, я стала бы таковой тем более, что вы возвратили бы мне нечто более дорогое для меня, чем я сама, и, возвратив в том виде, как вы сказали, вернули бы мне отчасти мою утраченную надежду». И она замолкла в слезах. Тогда Куррадо обратился к своей жене: «А тебе, жена, во что бы показалось, если бы я дал тебе такого зятя?» На это она отвечала: «Не только что кто-нибудь из наших родовитых людей, но и проходимец пришелся бы мне по сердцу, если бы приглянулся вам». Тогда Куррадо сказал: «Надеюсь через несколько дней обрадовать этим вас обеих». Увидев, что к молодым людям вернулся их прежний вид, велев одеть их пристойно, он спросил Джьусфреди: «Приятно ли было бы тебе, сверх той радости, какую ты ощущаешь, увидеть здесь и твою мать?» На то Джьусфреди ответил: «Мне не верится, чтобы печаль ее бедственной судьбы еще оставила ее в живых; но если бы это было так, мне было бы это чрезвычайно дорого, ибо я думаю, что при ее советах я мог бы вернуть себе отчасти мое положение в Сицилии». Тогда Куррадо велел призвать туда обеих дам; они с большой радостью приветствовали молодую, немало удивляясь, какое вдохновение побудило Куррадо к такому благодушию, что он соединил ее с Джьяннотто. Мадонна Беритола начала всматриваться в него под влиянием слов, слышанных от Куррадо. Тайная сила возбудила в ней какое-то воспоминание о младенческих очертаниях лица ее сына, и, не ожидая иного доказательства, она бросилась к нему на шею с распростертыми объятиями. Избыток любви и материнской радости не дал ей сказать ни слова, – наоборот, так прекратил всякую силу чувствительности, что она, точно мертвая, упала на руки сына. Он, хотя и сильно изумился, припоминая, что много раз видел ее в этом самом замке и все же не узнавал ее, тем не менее тотчас же ощутил чутьем свою мать и, порицая себя за свою прошлую беспечность, принял ее в свои объятия и, пролив слезы, нежно поцеловал. После того как к мадонне Беритоле, которой сострадательно оказали помощь холодной водою и другими средствами жена Куррадо и Спина, вернулись утраченные силы, она снова со многими слезами и нежными словами обняла сына и, полная материнской нежности, тысячу и более раз поцеловала его, а он принимал это и смотрел на нее с почтением.

Когда эти достойные и радостные приветствия повторились три или четыре раза, не без великой радости и удовольствия присутствующих, когда один успел рассказать другому все свои приключения, а Куррадо объявил своим друзьям, к общему удовольствию, о своей новой родственной связи и распорядился устройством прекрасного, великолепного торжества, Джь-

усфреди сказал ему: «Куррадо, вы многим порадовали меня и долгое время держали в чести мою мать; теперь, дабы не осталось не сделанным ничего, что вы в состоянии сделать, я прошу вас, чтобы вы и мою мать, и мой праздник, и меня самого развеселили присутствием брата, которого держит у себя в качестве слуги мессер Гаспаррино д'Ориа, и меня полонивший, как я уже сказал вам, в корсарском набеge; а затем, чтобы вы послали в Сицилию кого-нибудь, кто бы точно осведомился об отношениях и положении страны, разузнал бы, что случилось с Арригетто, отцом моим, жив он или умер, а коли жив, в каком положении, – и, разузнав обо всем в полности, вернулся бы к нам». Понравилась Куррадо просьба Джьусфреди, и, не мешкая, он послал надежных людей в Геную и Сицилию. Тот, кто отправился в Геную, разыскав мессера Гаспаррино, настоятельно попросил его от лица Куррадо доставить ему Скаччято и его мамку, по порядку рассказав ему все, содеянное Куррадо по отношению к Джьусфреди и его матери. Сильно подивился мессер Гаспаррино, услышав это, и сказал: «Разумеется, я сделал бы для Куррадо все, что бы мог и что бы он ни захотел; живет у меня в доме уже лет с четырнадцать мальчик, о котором ты спрашиваешь, с матерью, коих я охотно ему доставлю; но скажи ему от меня, чтобы он остерегся доверяться и не доверялся рассказам Джьяннотто, который ныне зовет себя Джьусфреди, ибо он гораздо хитрее, чем полагает Куррадо». Так сказав и велев учествовать достойного человека, он тайно приказал позвать мамку и осторожно расспросил ее об этом деле. Та, услышав о восстании в Сицилии и узнав, что Арригетто жив, отложила страх, который прежде питала, все по порядку ему рассказала и объяснила ему причины, почему она держалась того образа действия, какому следовала. Увидев, что рассказы мамки отлично согласуются с рассказами посланного, мессер Гаспаррино возымел доверие к его словам; как человек очень тонкий, тем и другим способом расследовав это дело и все более находя обстоятельства, убеждавшие в его достоверности, он устыдился своего недостойного обращения с мальчиком и в возмездие за это выдал за него с большим приданым свою дочку, красавицу одиннадцати лет, ибо знал, кто такой и чем был Арригетто. После большого праздника, устроенного по этому поводу, он вместе с юношей и дочерью, с посланцем Куррадо и мамкой сел на хорошо вооруженную галеру и прибыл в Леричи, где был принят Куррадо, затем со всем своим обществом отправился в один из замков Куррадо неподалеку оттуда, где было приготовлено большое торжество. Какова была радость матери, вновь увидевшей своего сына, какова радость обоих братьев и всех троих при виде верной мамки, каков прием, оказанный всеми мессеру Гаспаррино и его дочери, и его привет всем и всех вообще по отношению к Куррадо и его жене с сыновьями и друзьями, всего этого не объяснить словами, почему я предоставляю вам, мои дамы, вообразить себе это.

Ко всему этому, дабы радость была полная, Господь Бог, который, коли начнет подавать, подает щедро, пожелал присоединить радостные вести о жизни и счастливом положении Арригетто Капече. Потому что, когда торжество было в разгаре и гости, женщины и мужчины, за столом и еще за первым блюдом, явился тот, кто был послан в Сицилию и, между прочим, рассказал об Арригетто, что он находился в заключении у короля Карла; когда в городе вспыхнуло восстание против короля, народ бешено бросился к тюрьме, перебил сторожей, а Арригетто вывели и, как заклятого врага короля Карла, сделали своим вождем, дабы, следуя за ним, гнать и убивать французов. Вследствие чего он вошел в великую милость у короля Пьетро, который восстановил его во всех его владениях и почестях; почему он и занимает теперь высокое, хорошее положение. Его самого, присоединил посланный, он принял с величайшим почетом и невыразимо порадовался о жене и сыне, о которых после своего плена никогда ничего не слышал; сверх того, он послал за ними легкое судно с несколькими именитыми людьми, которые и следуют за ним.

Посланного приняли и выслушали с большою радостью и восторгом; Куррадо вместе с некоторыми друзьями скоро снарядился навстречу именитым людям, прибывшим за мадонной Беритолой и Джьусфреди; их весело приветствовали и повели на пиршество, которое не

было еще и в половине. Здесь и мадонна Беритола, и Джьусфреди, да, кроме их, и все другие обнаружили такую радость, увидя их, что о подобной не было и слыхано; а они, прежде чем сесть за стол, от лица Арригетто кланялись и благодарили, как лучше умели и могли, Куррадо и его жену за почет, оказанный жене и сыну Арригетто, предоставляя в распоряжение хозяев как его самого, так и все, что было бы в его власти. Затем, обратившись к мессеру Гаспаррино, заслуги которого были для них неожиданностью, они заявили свою полную уверенность, что, когда Арригетто узнает, что он сделал для Скаччято, ему воздастся подобная же и еще большая благодарность. После того они весело стали пировать на празднике двух молодых супругов и молодых супругов. Не в этот только день устроил Куррадо торжество для своего зятя и для других своих родичей и друзей, но и в течение многих других. Когда же празднество кончилось и мадонне Беритоле и Джьусфреди и другим показалось, что пора ехать, они, напутствуемые слезами Куррадо и его жены и мессера Гаспаррино, сев на ходкое судно и увозя с собою Спину, удалились; а так как ветер был благоприятный, то они скоро прибыли в Сицилию, где в пристани Арригетто встретил всех, и сыновей и дам, с такой радостью, что описать ее нет возможности. Здесь, говорят, они долгое время жили потом счастливо, памятуя Господа Бога в благодарность за полученное благодеяние.

Новелла седьмая

Султан Вавилонии отправляет свою дочь в замужество к королю дель Гарбо; вследствие разных случайностей она в течение четырех лет попадает в разных местах в руки к девяти мужчинам; наконец, возвращенная отцу, как девственница, отправляется, как и прежде намеревалась, в жены к королю дель Гарбо

Продлись новелла Емилии еще немного, и, может быть, жалость, возбужденная в молодых дамах приключениями мадонны Беритолы, заставила бы их пролить слезы. Когда рассказу положен был конец, королеве заблагорассудилось, чтобы продолжал Памфило, рассказав и свою новеллу, вследствие чего он с великой готовностью начал так: – Прелестные дамы, нам трудно бывает знать, что нам надо, ибо, как то часто видали, многие, полагая, что, разбогатев, они будут жить без заботы и опасений, не только просили о том Бога молитвенно, но и действительно старались о приобретении, не избегая трудов и опасностей, и хотя это им и удавалось, находились-таки люди, которые из желания столь богатого наследия убивали их, а до того, прежде чем те разбогатели, они их любили и берегли их жизнь. Иные, возвысь из низкого положения среди тысячи опасных битв, кровью братьев и друзей, к высоте царственной власти, в которой полагали высшее счастье, не только увидели и ощутили ее полной забот и страхов, но и познали ценою жизни, что за царским столом в золотом кубке пьется яд. Бывали многие, страстно желавшие телесной силы и красоты, иные украшений, не прежде приходившие к убеждению, что желание их дурно направлено, как сознав в этих предметах причину своей смерти, либо горестного существования. Не говоря отдельно о всех человеческих желаниях, я утверждаю, что нет ни одного, которое люди могли бы с полным сознанием предпочесть, как застрахованное от случайностей судьбы; почему, если бы мы захотели поступать как следует, мы должны были бы себя устроить так, чтобы избирать то и тем владеть, что подает нам тот, кто один знает, что нам нужно, и может нам то доставить. Но так как люди разным образом грешат желанием, а вы, прелестные дамы, сильно грешите одним, именно желанием быть красивыми, настолько, что, не довольствуясь прелестями, данными вам природой, вы с изумительным искусством стараетесь их умножить, – я хочу рассказать вам о роковой красоте одной сарацинки, которой, по причине ее красоты, пришлось в какие-нибудь четыре года сыграть свадьбу до девяти раз.

Много прошло тому времени, как в Вавилонии жил-был султан, по имени Беминедаб, которому в его жизни многое удавалось по его желанию. Была у него в числе других детей мужского и женского пола одна дочка, по имени Алатиэль, о которой все, кто ее видел, говорили, что она красивейшая женщина из всех, какие тогда были на свете; а так как в большом поражении, которое он нанес многочисленному войску напавших на него арабов, король дель Гарбо оказал ему чудесную помощь, то султан и обещал ее ему в жены, о чем тот просил, как об особой милости; посадив ее с почетной свитой мужчин и женщин и драгоценной, богатой утварью на хорошо вооруженный и снаряженный корабль, он отправил ее к нему, поручив ее Богу. Корабельщики, улучив благоприятную погоду, поставили паруса по ветру, вышли из Александрийского порта и несколько дней плыли счастливо; они миновали уже Сардинию и, казалось, были близки к цели своего путешествия, когда однажды поднялись противоположные ветры, все чрезвычайно порывистые, так обрушившиеся на корабль, где находилась девушка с корабельщиками, что несколько раз они считали себя погибшими. Тем не менее, как люди искусные, пустив в ход всякую сноровку и силу в борьбе с расходившимся морем, они выдержали два дня; когда настала третья ночь с начала бури, – а она не прекращалась, а все росла, – не зная, где они, и не будучи в состоянии того дознаться ни при помощи знакомого морякам

измерения, ни на глаз, ибо небо, заволоченное тучами, было темно, как ночью, они почувствовали, когда были несколько выше Майорки, что корабль дал трещину. Вследствие этого, не видя другого средства спасения, и всякий имея в виду себя, а не других, они спустили в море лодку, и хозяин сошел в нее, рассчитав, что лучше довериться ей, чем надтреснутому судну; за ним стали бросаться туда же тот и другой из бывших на корабле людей, хотя те, кто уже спустился в лодку, противились тому с ножами в руках. Рассчитывая таким образом избежать смерти, они пошли ей навстречу, потому что лодка, не будучи в состоянии, по причине бури, выдержать столько народа, пошла ко дну, и все погибли. Что касается до корабля, гонимого стремительным ветром, хотя он раскололся и был почти полон воды, то на нем не осталось никого, кроме девушки и ее прислужниц, подавленных бурей и страхом и лежавших на полу замертво; на быстром ходу он ударился о берег острова Майорки, и такова и столь велика была его стремительность, что он почти целиком врезался в песок неподалеку от берега, может быть, в расстоянии переброса камнем, и здесь, всю ночь качаемый морем, остановился, так как ветер не мог более сдвинуть его. Когда настал день и буря немного унялась, девушка, почти полумертвая, приподняла голову и, хотя была слаба, принялась звать то одного, то другого из своей свиты; но зов был напрасен, ибо призываемые были далеко. Потому, не слыша ответа и никого не видя, она очень изумилась и начала ощущать сильный трепет; поднявшись, как сумела, она увидела, что женщины, ей сопутствовавшие, да и другие лежат; потрогав то одну, то другую, после многих окликов она нашла, что лишь немногие остались в живых, другие же, частью от сильного недуга желудка, частью от страха, скончались, что увеличило ее ужас; тем не менее, побуждаемая необходимостью на что-нибудь решиться, ибо она видела себя одинокой, не зная и не понимая, где она, она настолько подбодрила тех, кто еще оставался в живых, что заставила их подняться; убедившись, что и они не знают, куда делись мужчины, увидев, что корабль ударился о берег и полон воды, она принялась вместе с ними горько плакать.

Уже был девятый час, а она не видела ни на берегу, ни в другом месте никого, кому могла бы внушить жалость к себе и желание подать помощь. Около девятого часа проезжал там, случайно возвращаясь из своего поместья, родовитый человек, по имени Перикон да Висальго, с несколькими слугами верхом. Увидев корабль, он быстро сообразил, в чем дело, и велел одному из своих сейчас же постараться взойти на него и доложить, что там такое. Слуга, взобравшись туда, хотя и не без затруднения, нашел молодую даму, а с ней немногих, при ней бывших, боязливо притаившуюся под носом корабля. Увидев его, они, в слезах, несколько раз принимались просить его сжалиться над ними; заметив, что их не понимают, а они его не понимают, они старались знаками объяснить ему свое несчастье. Осмотрев все, как сумел лучше, слуга рассказал Перикону, что там было, а он, тотчас распорядившись забрать женщин и наиболее драгоценные вещи, какие там были и какие можно было достать, со всем этим отправился в свой замок. Здесь, когда женщины подкрепились пищей и отдыхом, он догадался по богатой утвари, что найденная им женщина должна быть из очень родовитых, в чем вскоре убедился по почету, который оказывали другие ей одной, и хотя девушка была тогда бледна и очень спала с лица от морской невзгоды, тем не менее ее черты показались Перикону прелестными, почему он тотчас же решил взять ее замуж, если она не замужем, а коли он не может получить ее в жены, то добиться ее любви.

Перикон был человек мужественного вида и очень крепкий; после того как в течение нескольких дней он велел холить ее как можно лучше и она вследствие того совсем оправилась, он увидел, что ее красота превосходит всякую оценку, и сильно сетовал, что не может познать ее, ни она его и что таким образом он не в состоянии узнать, кто она; тем не менее, безмерно воспламененный ее красотой, он старался приятным и любовным обращением побудить ее удовлетворить без прекословия его желание. Но это не повело ни к чему, она решительно отвергала его ухаживания; и тем более разгоралась страсть Перикона. Когда девушка это заметила и, прожив несколько дней, убедилась, по обычаям народа, что она у христиан и в местно-

сти, где ей было мало проку в том, чтобы открыть, кто она, если бы она и сумела это сделать; когда она убедилась, что с течением времени, путем насилия или любви, ей все же придется удовлетворить желаниям Перикона, она решила сама с собой великодушно поправить невзгоды своей судьбы – и приказала своим служанкам, которых осталось всего три, никому не открывать кто она, разве они очутятся в таком месте, где им представится помощь к их освобождению, сверх того, она сильно убеждала их сохранить свое целомудрие, утверждая и свое решение, что никто, кроме мужа, не будет обладать ею. Ее женщины похвалили ее за это, обещая по мере сил исполнить ее наставления. Перикон, разгораясь с каждым днем тем более, чем ближе видел предмет желания и чем более ему отказывали в нем, пустил в ход уловку и ухищрения, прибегая к насилью к концу. Заметив не раз, что девушке нравилось вино, которое она не привыкла пить вследствие запрета ее религии, он надумал взять ее вином, как первым служителем Венеры; притворившись, будто не обращает внимания на ее отвращение, он устроил однажды вечером, в виде торжественного праздника, хороший ужин, на который явилась и девушка, и здесь за столом, прекрасно обставленным, приказал прислуживавшему ей подносить ей разных вин, смешанных вместе. Тот это отлично исполнил, а она, не остерегавшаяся того, увлеченная прелестью напитка, выпила его более, чем приличествовало ее чести; вследствие чего, забыв все прошлые беды, она развеселилась и, увидав, как несколько женщин плясали на майоркский лад, принялась плясать на александрийский. Как заметил это Перикон, ему представилось, что он близок к исполнению своего желания, и, затянув ужин, среди еще большего обилия яств и питья, он продлил его на большую часть ночи. Наконец, когда ушли гости, он один с девушкой вошел в комнату; та, более разгоряченная вином, чем руководимая честностью, точно Перикон был одной из ее прислужниц, без всякого удержу стыдливости разделась в его присутствии и легла на постель. Перикон не замедлил последовать за нею; потушив все огни, быстро лег с нею рядом и, заключив ее в свои объятия, без всякого сопротивления с ее стороны стал любовным образом с нею забавляться. Когда она ощутила это, точно раскаявшись, что долго не склонялась к уличениям Перикона, не дожидаясь приглашения на столь же сладкие ночи, часто стала приглашать себя сама, не словами, ибо не умела объясняться, а делом.

Этому великому наслаждению ее и Перикона поперечила другая, более жестокая любовь, точно судьба не удовлетворялась тем, что сделала ее из супруги короля любовницей рыцаря. Был у Перикона брат лет двадцати пяти, красивый и свежий, как роза, по имени Марато; он увидел ее, она ему сильно понравилась, и так как ему показалось, судя по ее обращению, что он ей приглянулся, и он полагал, что ничто не устраняет его от цели, которой он у нее добивался, как только строгая охрана Перикона, он возымел жестокую мысль, а за мыслью последовало, не мешкая, преступное исполнение. Случайно зашел в гавань города корабль, нагруженный товаром и направлявшийся в Кьяренцу в Романии; хозяевами судна были двое молодых генуэзцев; они уже подняли паруса, чтобы уйти, лишь только будет попутный ветер; с ними-то сговорился Марато, заказав, чтобы на следующую ночь они приняли его к себе вместе с женщиной. Уладив это, когда приблизилась ночь, он, рассчитав все, что следовало сделать, тайно отправился в дом ничуть не остерегавшегося его Перикона вместе с несколькими вернейшими товарищами, которых подговорил на то, что затевал, и, согласно условленному между ними порядку, спрятался там. Когда миновала часть ночи, он, впуская своих товарищей, пошел к комнате, где Перикон спал с девушкой; отворив покой, они убили спавшего Перикона, схватили даму, проснувшуюся и плакавшую, грозя ей смертью, если она поднимет шум; захватив большую часть драгоценных вещей Перикона, они, никем не замеченные, быстро направились к берегу, где без замедления Марато и его дама сели на корабль, тогда как его товарищи вернулись к себе. Пользуясь хорошим, крепким ветром, поставив паруса, Марато отправился в путь. Дама горько и много сетовала как о своем первом несчастии, так и об этом, втором, но Марато помощью св. Встани, которым снабдил нас Господь, принялся утешать ее так, что она, привыкнув к нему, забыла о Периконе.

Уже ей представлялось, что все обстоит благополучно, когда судьба готовила ей новое огорчение, будто не довольствуясь прошлыми: ибо, так как она была большой красавицей, как мы не раз говорили, и обладала приятными манерами, молодые хозяева корабля до того увлеклись ею, что, забыв все остальное, только о том и помышляли, чтобы услужить ей и сделать приятное, постоянно остерегаясь, как бы Марато не догадался о причине. Когда один дознался о любви другого, они держали о том тайный совет и сговорились приобрести эту любовь сообща, точно и любовь может быть подвержена тому же, чему товар или барыш. Заметив, что Марато сильно ее сторожит, а это препятствует их намерению, они, согласившись между собою, подошли к нему однажды, когда корабль быстро шел на парусах, а Марато стоял на корме и смотрел в море, ничуть не остерегаясь, и, быстро схватив его сзади, бросили в море; и прошли более мили, прежде чем кто-либо заметил, что Марато упал в воду. Когда дама услышала о том и не видела способа, каким бы вернуть Марато, принялась за новые сетования на корабле. Оба влюбленные тотчас же явились утешать ее и нежными словами и большими обещаниями, хотя она и немного в них понимала, старались успокоить ее, оплакивавшую не столько утрату Марато, сколько свое несчастье. После долгих уговоров, к которым они прибегали не раз и не два, когда им показалось, что она почти утешилась, они стали рассуждать промеж себя, кому из них первому повести ее к себе на ложе. Так как каждый желал быть первым и между ними не могло произойти относительно этого соглашения, они начали с крепких слов и крупного спора, который возбудил их к гневу: выхватив ножи, они бешено бросились друг на друга, а так как люди, что были на корабле, не могли разнять их, то они нанесли друг другу несколько ударов, от чего один тотчас же упал мертвым, другой, раненный в разные части тела, остался жить. Это очень огорчило даму, ибо она увидала себя одинокой, лишенной чьей-либо помощи и совета, и сильно опасалась, как бы не обрушился на нее гнев родных и друзей обоих хозяев, но просьбы раненого и скорое прибытие в Кьяренцу освободили ее от опасности смерти. Здесь, когда она и раненый сошли на берег и она поселилась с ним в гостинице, молва об ее великой красоте внезапно пронеслась по городу и дошла до Морейского принца, находившегося тогда в Кьяренце, почему он и пожелал поглядеть на нее. Увидев ее и найдя ее гораздо более красивой, чем говорила молва, он вдруг влюбился в нее так сильно, что ни о чем другом не мог и подумать. Услышав, каким образом она сюда прибыла, он сообразил, что может ее добыть. Когда он изыскивал к тому средства, родные раненого, узнав о том, не мешкая, доставили ее ему, что было принцу крайне приятно, равно как и даме, ибо ей представилось, что она избыла большой опасности. Увидев, что, помимо красоты, она украшена еще и царственными манерами, не будучи в состоянии узнать иным способом, кто она, он счел ее за знатную даму, а это удвоило его любовь к ней; окружив ее почетом, он обходился с ней не как с любовницей, а как с собственной женой. Вследствие этого, чувствуя себя очень хорошо сравнительно с прошлыми бедами, совсем ободрившись, она повеселела, и так расцвела ее красота, что, кажется, ни о чем другом не говорила вся Романия. Почему у Афинского герцога, юного, красивого и мужественного, приятеля и родственника принца, явилось желание увидеть ее; под предлогом посещения, как то нередко делал, он с прекрасной и почетной свитой прибыл в Кьяренцу, где был принят с почестями и большим торжеством. Когда по прошествии нескольких дней они заговорили о красоте той женщины, герцог спросил, в самом ли деле она так изумительна, как говорят. На это принц ответил: «Гораздо более, но я желаю, чтобы свидетельством тому были тебе не мои слова, а твои глаза». Когда герцог стал торопить с этим принца, оба отправились туда, где она находилась. Услышав об их посещении, она приняла их очень приветливо и с веселым видом; посадив ее между собою, они не могли насладиться беседой с нею, ибо она мало или вовсе не понимала их языка; поэтому каждый из них смотрел на нее как на диво, особенно герцог, который едва мог уверить себя, что это смертное создание; не замечая, что, глядя на нее, он впивал глазами любовный яд, и думая, что, любуясь на нее, он удовлетворял своему желанию, он роковым образом запутал себя, пламенно в нее влюбившись. Когда он ушел от нее

вместе с принцем и улучшил время поразмыслить сам с собою, он счел принца счастливейшим надо всеми, ибо столь прекрасное создание – в его власти; после многих и разнообразных дум, когда его горячая любовь перевесила в нем чувство чести, он решил, что бы от того ни произошло, отнять это блаженство у принца и по возможности осчастливить им самого себя. Решив, что ему следует поторопиться, отложив разум и справедливость, он направил все свои мысли на козни. Однажды, по злодейскому уговору с довереннейшим служителем принца, по имени Чуриачи, он тайно велел снарядить к отъезду своих коней и вещи; на следующую ночь означенный Чуриачи тихо впустил его с одним товарищем, вооруженных, в комнату принца, которого они увидели совершенно голым, по случаю сильной жары, стоявшим, пока дама спала, у окна, обращенного к морю, чтобы освежиться ветерком, веявшим с той стороны. Вследствие этого, научив наперед своего товарища, что ему делать, герцог тихо прошел по комнате до окна и, ударив принца ножом в бок, так что пронзил его насквозь, быстро схватил его и выбросил наружу. Дворец стоял над морем и был очень высок, а окно, у которого тогда находился принц, выходило на несколько домов, разрушенных напором моря; туда ходили редко или никогда, почему и случилось, как то предвидел герцог, что падение тела принца не было никем услышано, да и не могло быть. Увидев, что дело сделано, спутник герцога, схватив веревку, им для того принесенную, и сделав вид, что хочет обласкать Чуриачи, быстро накинул ее ему на шею и так затянул, что тот не мог произвести шума; когда подоспел герцог, они его задушили и бросили туда же, куда кинули и принца. Совершив это и воочию убедившись, что их не слышали ни дама и никто другой, герцог взял в руки свечу и, поднеся ее к постели, тихонько раскрыл крепко спавшую даму; осмотрев ее всю, он много любовался ею, и если она понравилась ему одетая, то обнаженной несравненно более того. Потому, воспламенившись горячим вожделением и не смущаясь недавно совершенным преступлением, он с окровавленными еще руками лег возле нее и познал ее сонную, полагавшую, что то принц. Пробыв с нею некоторое время с величайшим наслаждением, он встал и, кликнув нескольких своих соучастников, велел взять даму так, чтобы не произошло шума; вынеся ее потаенной дверью, которой сам вошел, и посадив на коня, он, насколько мог тише, пустился в путь и вернулся в Афины. Но так как он был женат, то и устроил даму, опечаленную, как никто другой, не в Афинах, а в одном прекрасном своем поместье, которое было неподалеку за городом у моря; здесь он держал ее в тайне, распорядившись, чтобы ей прислуживали подобающим образом. На другой день придворные принца ждали до девятого часа, чтобы он поднялся; ничего не слыша, они отворили двери, лишь припертые, и, не найдя никого, предположили, что принц уехал куда-нибудь тайком, чтобы провести несколько дней в свое удовольствие с тою красавицей, и более о том не заботились. Так было дело, когда на другой день один юродивый, войдя в развалины, где лежали тела Чуриачи и принца, вытащил на веревке тело Чуриачи и поволок его за собой. Многие признали его не без малого изумления и, ласками побудив юродивого повести себя туда, откуда он вытащил тело, нашли там, к общей печали горожан, и тело принца, которое похоронили почетным образом; принявшись искать виновников столь великого преступления и видя, что Афинского герцога нет и он уехал тайно, рассудили, как то и было на самом деле, что совершил это он и что он же увез и даму. Потому, тотчас же поставив принцем брата убитого, они со всяким тщанием стали возбуждать его к мщению; уверившись по многим другим обстоятельствам, что дело было так, как они себе представляли, он, попросив помощи у друзей и родственников и подданных из разных местностей, вскоре собрал прекрасное, большое и сильное войско и пошел войной на Афинского герцога.

Услышав о том, герцог также собрал все свои силы на свою защиту, и ему на помощь пришло много синьоров, в числе которых были посланные константинопольским императором его сын Константин и племянник Мануил, с прекрасным и большим войском, которых герцог принял почетно, тем более герцогиня, ибо она приходилась им сродни. Когда со дня на день дело близилось к войне, герцогиня, улучив время, призвала их обоих в свою комнату и здесь,

среди многих слез и речей, рассказала им всю историю, объяснив причины войны и указав на оскорбление, нанесенное ей герцогом в лице той женщины, которую он, как ей казалось, держит в тайне от всех; сильно на то жалуясь, она просила их, к чести герцога и ее утешению, доставить ей, какое могут лучше, удовлетворение. Молодые люди уже знали, как было дело, и потому, далее не расспрашивая, утешили герцогиню, как сумели, исполнив ее доброй надежды; узнав от нее, где находится та дама, они удалились, но, наслышавшись много раз, что ее хвалят за ее изумительную красоту, пожелали увидеть ее и попросили герцога показать ее им. Тот, забыв, что случилось с принцем вследствие того, что он показал ее ему, обещал это устроить и, велев приготовить великолепный обед в прелестнейшем саду, находившемся в том месте, где жила дама, повел их с немногими другими гостями на следующий день к ней обедать. Сидя рядом с нею, Константин принялся разглядывать ее, полный удивления, утверждая про себя, что такой красоты он никогда не видывал и что действительно можно извинить герцога, да и всякого другого, если из-за обладания такой красотою он совершил предательство или другое бесчестное дело; когда он взглянул на нее раз и другой, всякий раз более расхваливая ее, с ним приключилось не иное, как то, что было и с герцогом. Вследствие этого, удалившись от нее влюбленным, он отложил всякую мысль о войне и стал думать, как бы отнять ее у герцога, отлично скрывая от всех свою любовь. Пока он горел этим пламенем, настало время выступить против принца, уже приближавшегося к владениям герцога, почему и герцог, и Константин, и все другие, по условленному порядку, вышли из Афин и отправились защищать границы, дабы принц не мог двинуться далее. Они стояли там несколько дней, когда Константин, у которого в уме и помыслах постоянно была та дама, сообразив, что теперь, когда герцог не при ней, ему очень легко будет добиться своего желания, представился сильно занемогшим, дабы иметь повод вернуться в Афины; потому, с соизволения герцога, передав свою власть Мануилу, он вернулся в Афины к сестре. Здесь по прошествии нескольких дней, наведя ее на разговор об оскорблении, которое, по его мнению, наносит ей герцог, держа ту даму, он сказал ей, что, коли она пожелает, он окажет ей хорошую помощь, похитив ее из ее местопребывания и увезя. Герцогиня, полагавшая, что он делает это из любви к ней, а не к той женщине, сказала, что будет очень довольна, если только все устроится так, что герцог никогда не узнает об ее на то соизволении; это Константин обещал ей наверное. Поэтому герцогиня дала свое согласие поступить, как ему заблагорассудится. Велев тайно снарядить легкую лодку, Константин однажды вечером послал ее поблизости сада, где жила дама, наставив своих людей, что были в лодке, что им следовало делать; затем вместе с другими он отправился ко дворцу, где находилась дама. Здесь он радостно был принят теми, кто был в ее услужении, и ею самой; с ними и в сопровождении своих слуг и спутников Константина она пошла, по его желанию, в сад. Как бы под предлогом поговорить с нею от лица герцога, он один направился с нею к двери, выходящей на море и уже отпертой одним из его товарищей; подождав лодку условленным знаком, он велел быстро схватить даму, посадить ее в лодку, а сам, обратившись к ее слугам, сказал: «Пусть никто из вас не трогается и не говорит ни слова, коли не хочет умереть, ибо я желаю не похитить у герцога его любовницу, а устранить стыд, учиняемый ею моей сестре». На это никто не осмелился ответить; потому, сев с своими в лодку и приблизившись к плакавшей даме, он приказал ударить в весла и отплыть. Гребцы не гребли, а летели и на рассвете следующего дня прибыли в Эгину. Здесь, сойдя на берег и отдыхая, Константин утешался с дамой, оплакивавшей свою роковую красоту; затем снова сев в лодку, они через несколько дней прибыли в Хиос, где из страха отцовских укоров и дабы у него не отняли похищенной женщины, Константин решил остановиться, как в безопасном месте. Несколько дней дама оплакивала свое несчастье, но затем, утешенная Константином, она, по примеру прошлого, начала находить удовольствие в том, что уготовляла ей судьба.

Когда все это так происходило, Осбек, бывший тогда королем турков и постоянно воевавший с императором, случайно прибыл в ту пору в Смирну и, услышав, что Константин ведет на

Хиосе сладострастную жизнь с одной похищенной им женщиной, не принимая при том никаких предосторожностей, отправившись туда однажды ночью на нескольких легковооруженных судах и тихо войдя с своими людьми в город, многих захватил в постелях, прежде чем они спохватились, что явились враги; других, которые, очнувшись, взяли за оружие, они перебили и, выжегши весь город, нагрузив корабли добычей и пленниками, вернулись в Смирну. Когда прибыл туда Осбек, человек молодой, и, рассматривая добычу, встретил красавицу и узнал, что это та самая, которая была взята спящей на постели Константина, он был крайне рад увидеть ее и, не мешкая, взяв ее себе в жены, отпраздновал свадьбу и весело жил с нею в течение нескольких месяцев. Прежде чем все это приключилось, император вступил в договор с Базаном, королем Каппадокии, с тем чтобы тот с одной стороны вышел с своими силами на Осбека, а он с своими нападет с другой, но он еще не успел вполне заключить договора, ибо Базан требовал нечто, что император не нашел удобным исполнить; услышав, что случилось с его сыном, безмерно опечаленный, он, не откладывая, исполнил требование каппадокийского короля, насколько возможно побуждая его выступить против Осбека и сам готовясь напасть на него с другой стороны. Прослышав о том, Осбек собрал войско и, прежде чем оба могущественных властителя успели обойти его, пошел против короля Каппадокии, оставив в Смирне под охраной своего верного слуги и друга свою красавицу жену. Встретившись по некотором времени с королем Каппадокии, он вступил в битву и был убит, а его войско поражено и рассеяно. Вследствие этого Базан стал свободно подвигаться к Смирне, и на пути все, как победителю, изъявляли ему покорность. Слуга Осбека, по имени Антиох, под охраной которого оставалась красавица, хотя был и в летах, но, видя ее столь прекрасной, влюбился в нее, не соблюдая верности своему другу и повелителю; и так как она знала его язык (что было ей очень приятно, ибо в течение нескольких лет ей пришлось жить точно глухой и немой, не понимая никого и не будучи никем понимаемой), то, побуждаемый любовью, он в несколько дней так с ней сблизился, что немного спустя, не обращая внимания на своего господина, обретавшегося на войне и во всеоружии, они обратили свою близость не только в дружескую, но и в любовную, на диво тешась под покровом постели. Когда они слышали, что Осбек побежден и убит, а Базан приближается и все грабит, они решили сообща не дожидаться его и, захватив большую часть драгоценностей, принадлежащих Осбеку, вместе тайком отправились в Родос.

Недолго прожили они здесь, как Антиох захворал насмерть; случайно заехал к нему один купец из Кипра, которого он очень любил и который был большим его другом; чувствуя, что настал его конец, он решил оставить ему и свое достояние, и свою милую даму. Уже будучи близким к смерти, он, позвав их обоих, сказал так: «Вижу я несомненно, что кончаюсь, и это меня печалит, потому что никогда мне не жилось так, как теперь. Правда, я умираю довольный уже тем, что, так как умирать приходится, я вижу, что скончаюсь на руках двух лиц, которых люблю больше всех на свете, то есть на твоих руках, дорогой друг, и на руках этой женщины, которую я любил, после того как познал ее, больше самого себя. Правда, мне тяжело, что она по моей смерти останется здесь, ибо знаю, что она чужестранка, без помощи и совета; и было бы еще тяжелее, если бы я не знал, что ты здесь и озаботаешься о ней из любви ко мне так же, как озаботился бы обо мне. Потому умоляю тебя изо всех сил, чтобы ты, в случае моей смерти, взял на попечение и мое имущество и ее и поступил бы с тем и другой, как сочтешь нужным во успокоение души моей. А тебя, дорогая, я прошу не забывать меня по моей смерти, дабы я там мог похвалиться, что здесь я любим самой красивой женщиной, какую только создала природа. Если вы обнадежите меня в этих двух отношениях, я без всякого сомнения отойду утешенный». Слушая эти речи, его друг купец, а также и дама плакали; когда он кончил, они стали утешать его, обещая честным словом исполнить, в случае его смерти, все, о чем он их просил. Не прошло много времени, как он скончался, и они похоронили его честным образом. Затем, спустя несколько дней, когда кипрский купец покончил все свои дела в Родосе и намеревался вернуться в Кипр на одном стоявшем там каталонском корабле, он спросил кра-

савицу, что она думает делать, так как ему приходится вернуться в Кипр. Она отвечала, что, если ему то угодно, она охотно поедет с ним в надежде, что, из любви к Антиоху, он будет держать ее и обходиться с нею, как с сестрой. Купец ответил, что согласен исполнить всякое ее желание, а дабы оградить ее от всякой неприятности, какая могла бы с ней приключиться до прибытия в Кипр, выдал ее за свою жену. Когда они сели на корабль и им отвели комнату на носу, он, дабы дело не казалось противоречащим слову, лег с ней вдвоем на небольшой кровати. Вследствие этого случилось, чего не было в мыслях ни у того, ни у другого, когда они отправились из Родоса, то есть, что, возбуждаемые темнотой и удобством и теплой постелью, влияние которой не малое, забыв о дружбе и любви к покойному Антиоху, увлекаемые одинаковым вожделением и взаимно раздражаясь, они породнились прежде, чем прибыли в Баффу, откуда был киприец.

Приехав в Баффу, она некоторое время жила с купцом. Случилось, что в Баффу прибыл по одному своему делу родовитый человек, по имени Антигон, богатый годами, еще более умом, но бедный благами мира, ибо во многих предприятиях на службе у кипрского короля судьба была ему враждебна. Когда однажды он проходил мимо дома, где жила красавица, а кипрский купец уехал в это время с товаром в Армению, он случайно увидал у окна дома эту женщину, а так как она была очень красива, он стал пристально разглядывать ее и припоминать сам себе, что он видал ее когда-то, но где – этого он никак не мог припомнить. Красавица, которая долгое время была игрушкой судьбы и бедствия которой приближались к концу, как только взглянула на Антигона, тотчас вспомнила, что видела его в Александрии на службе у отца и не в малых должностях; поэтому, внезапно восприняв надежду, что благодаря его совету она может еще вернуться в царственное положение, и зная, что ее купца нет дома, она как можно скорее велела позвать Антигона. Когда он явился, она стыдливо спросила, не он ли Антигон из Фамагосты, как ей показалось. Антигон ответил утвердительно и, кроме того, сказал: «Мадонна, мне кажется, я признаю вас, но только не могу припомнить, где я вас видел, почему и прошу вас, если это не неприятно, привести мне на память, кто вы». Услышав, что он тот и есть, она, сильно плача, бросилась к нему на шею и по некотором времени спросила его, сильно изумлявшегося, не видал ли он ее в Александрии. Когда Антигон услышал этот вопрос, тотчас же признал, что это Алатиэль, дочка султана, которую полагали погибшей в море; он хотел выразить ей подобающее почтение, но она, не допустив его до того, попросила посидеть с ней некоторое время. Антигон так и сделал и почтительно спросил ее, как и когда и откуда она явилась сюда, так как во всем Египте существовала уверенность, что она несколько лет тому назад утонула в море. На это она отвечала: «Я бы желала, чтобы случилось скорее именно так, чем мне вести такую жизнь, какую я вела; думаю, что отец мой пожелал бы того же, если когда-либо об этом узнает». Сказав это, она снова принялась сильно плакать. Потому Антигон сказал: «Мадонна, не падайте духом, прежде чем окажется в том нужда; расскажите мне, пожалуйста, ваши приключения и какова была ваша жизнь; может быть, дело обстояло так, что мы еще найдем, с Божьей помощью, хороший выход». – «Антигон, – сказала красавица, – мне показалось, когда я увидела тебя, что я вижу моего отца; движимая тою любовью и привязанностью, которые я обязана питать к нему, я открылась тебе, имея возможность не открыться, и немного найдется лиц, увидев которых я испытала бы такое удовольствие, какое ощущаю, увидев и узнав тебя раньше всякого другого; поэтому, что я постоянно таила в моей злосчастной судьбе, то я тебе открою, как своему отцу. Если ты, выслушав, усмотришь какой-нибудь способ вернуть меня в прежнее положение, прошу тебя употребить его; если не усмотришь, умоляю тебя никому никогда не говорить, что ты меня видел, либо что-либо обо мне слышал». Так сказав, она, все время плача, рассказала ему все, начиная с того дня, когда их разбило у Майорки, до этого времени. Все это заставило Антигона плакать от жалости; поразмыслив некоторое время, он сказал: «Мадонна, так как среди ваших бедствий осталось неизвестным, кто вы такие, я без всякого сомнения верну вас отцу еще более ему милой, а затем и королю

дель Гарбо – его женою». Когда она спросила его, как это станется, он по порядку разъяснил ей, что следует сделать; а для того, чтобы не случилось какой-нибудь другой проволочки, Антигон, тотчас же отправившись в Фамагосту, явился к королю, которому сказал: «Государь мой, коли вам угодно, вы можете в одно и то же время и себе доставить величайшую честь и мне, обедневшему на службе у вас, большую пользу без большой траты с вашей стороны». Король спросил, каким образом. Тогда Антигон сказал: «В Баффу прибыла красавица девушка, дочь султана, о которой долго ходила молва, что она утонула; чтобы соблюсти свою честь, она долгое время претерпевала большие невзгоды и теперь обретается в бедственном положении и желает вернуться к отцу. Если бы вам угодно было доставить ее ему под моей охраной, вам была бы от того большая честь, а мне великое благо; и не думаю, чтобы подобная услуга когда-либо вышла из памяти султана». Король, побуждаемый царственным великодушием, тотчас же ответил, что согласен; послав за нею с почетом, он велел привезти ее в Фамагосту, где король и королева приняли ее с неописанным торжеством и великолепными почестями. Когда король и королева стали затем расспрашивать ее о ее приключениях, она отвечала согласно наставлению, данному ей Антигоном, и все рассказала.

Несколько дней спустя король, по ее просьбе, отправил ее к султану с прекрасной и почетной свитой мужчин и женщин под начальством Антигона; с каким торжеством она была принята, равно как и Антигон с его товарищами, о том нечего и спрашивать. После того как она несколько отдохнула, султан пожелал узнать, как она осталась в живых и где так долго пребывала, не подавая ему никаких вестей о своем положении. Тогда девушка, отлично удержавшая в памяти наставления Антигона, начала говорить так: «Отец мой, на двадцатый, быть может, день по моем отъезде от вас наше судно, разбитое жестокой бурей, ударилось ночью о берег, на западе, по соседству с местом, называемым Акваморта; что случилось с людьми, бывшими на нашем корабле, о том я не знаю и никогда о том не доведалась; помню только, что, когда настал день и я точно воскресла от смерти к жизни, разбитый корабль усмотрен был жителями, и они сбежались отовсюду, чтобы его ограбить; меня они свели на берег с двумя моими спутницами, схватив которых двое молодых людей пустились бежать, кто в одну, кто в другую сторону, и что с ними случилось, о том я никогда не доведалась; когда меня, сопротивлявшуюся, схватили двое юношей, таща за косы, а я сильно плакала, случилось, что, когда увлекавшие меня следовали дорогой, чтобы войти в большой лес, четыре человека верхом проезжали там о ту пору; когда увидели их увлекавшие, быстро оставив меня, пустились в бегство. Заметив это, те четыре человека, показавшиеся мне людьми властными, подоспели ко мне и много меня допрашивали, и я говорила много, но не была ими понята, ни они мною. После долгого совещания они посадили меня на одного из своих коней и повезли в обитель женщин, монахинь по их закону; что они им говорили, не знаю, но меня приняли дружелюбно и всегда почитали, и впоследствии я вместе с ними с великим благоговением чествовала св. Встани в глубокой Лощине, которого женщины той страны очень почитают. Когда я пробыла с ними некоторое время и уже научилась немного их языку, и меня спрашивали, кто я и откуда, зная, где я, и боясь, сказав правду, быть выгнанной, как неприязненная их религии, отвечала, что я дочь одного очень знатного человека на Кипре и что, когда меня отправили замуж в Крит, буря занесла нас сюда и разбила. Часто и во многих случаях я, из боязни худшего, соблюдала их обычай; когда старшая из этих женщин, которую называют аббатисой, спрашивала меня, хочу ли я вернуться в Кипр, я отвечала, что ничего так не желаю; но она, оберегая мою честь, никогда не хотела доверить меня никому из отправлявшихся в Кипр, пока, может быть, месяца два тому назад, не явилось из Франции несколько почтенных людей с своими женами, из которых одна была родственницей аббатисы; услышав, что они отправляются в Иерусалим посетить святую гробницу, где тот, кого они почитают Богом, был положен после того, как убит был иудеями, она поручила меня им, прося их доставить меня в Кипр к моему отцу. Как чествовали меня эти достойные люди, как дружелюбно приняли они и их жены, об этом долго было бы рассказывать. Итак, сев на

корабль, через несколько дней мы приехали в Баффу; когда я прибыла туда, никого не зная, не зная, что и сказать достойным людям, желавшим доставить меня моему отцу, согласно наказу, данному им почтенною женщиной, Господь, быть может, сжалившийся надо мною, уготовил мне встречу с Антигоном на берегу в то самое время, как мы высаживались в Баффе; быстро подзвав его, я сказала ему на нашем языке, дабы не быть понятой почтенными людьми и их женами, чтобы он принял меня, как свою дочь. Он тотчас понял меня и встретил с большой радостью, почтил, насколько дозволила ему его бедность, достойных людей и их жен и повел меня к королю Кипра, который, приняв меня так почетно, отправил меня к вам, что всего того я не в состоянии пересказать. Если что остается, то пусть расскажет это Антигон, много раз слышавший от меня повесть о моей судьбе».

Тогда, обратившись к султану, Антигон сказал: «Государь мой, как она мне часто рассказывала и как рассказали мне те почтенные люди и дамы, с которыми она прибыла, так рассказала она и вам. Одно только она опустила, – и я полагаю, что сделала она это потому, что не пристало ей говорить о том, – что те почтенные мужи и дамы, с которыми она приехала, рассказывали о святой жизни, которую она вела с монахинями, о ее добродетели и похвальных нравах, о слезах и сетовании женщин и мужчин, когда, возвратив мне ее, они с ней расставались. Если бы я захотел передать подробно все то, что они мне говорили, не только что этого дня, не хватило бы и следующей ночи; скажу только, – и этого будет довольно, – что, насколько можно было заключить по их речам и я сам мог видеть, вы можете гордиться, что у вас дочь более красивая, честная и доблестная, чем у всякого другого повелителя-венценосца». Все это сильно обрадовало султана, и он не раз молил Бога, чтобы Он сподобил его воздать должное всем, почтившим его дочь, особенно кипрскому королю, который доставил ее ему с такими почестями. По прошествии нескольких дней, велев приготовить богатые подарки для Антигона, он отпустил его в Кипр, воздав королю и в письмах и через особых послов великую благодарность за все, содеянное для его дочери. После того, желая довершить начатое, то есть чтобы дочь стала женой короля дель Гарбо, он все ему разъяснил, написав, кроме того, что, если ему угодно владеть ею, он прислал бы за нею, чему король дель Гарбо очень обрадовался и, послав за нею с почетом, радостно ее принял. А она, познавшая, быть может, десять тысяч раз восемь мужчин, возлегла рядом с ним, как девственница, уверила его, что она таковая и есть, и, став царицей, долгое время жила с ним в веселии. Вот почему стали говорить: «Уста от поцелуя не умяются, а как месяц обновляются».

Новелла восьмая

Граф Анверский, ложно обвиненный, отправляется в изгнание, оставив двух своих детей в разных местностях Англии; вернувшись неузнанным, находит их в хорошем положении, идет в качестве конюха в войско французского короля и, признанный невинным, возвращен в прежнее состояние

Дамы сильно вздыхали при рассказе о разнообразных приключениях красавицы; но кто знает, что было причиною этих вздохов? Быть может, были и такие, что вздыхали не менее вследствие желания столь же частых браков, чем из сострадания. Но не будем теперь говорить об этом, когда они посмеялись по поводу последних слов, сказанных Памфило, и королева увидела, что ими кончилась новелла; обратившись к Елизе, она приказала продолжать рассказы в заведенном порядке. Та сделала это охотно, начав таким образом:

— Обширно то поле, на котором мы сегодня вращаемся, и нет никого, кто бы не был в состоянии пробежать с большею легкостью не одно поприще, а десять: столь обильным неожиданными и суровыми случайностями сделала его судьба. Потому, принимаясь рассказывать об одной из бесконечно многих, скажу, что, когда римское имперское достоинство перенесено было от французов к немцам, между тем и другим народом возникла великая вражда и жестокая, непрестанная война. Вследствие этого, как для защиты своей страны, так и для нападения на чужую, король французский и его сын, собрав все силы своей страны, а также силы друзей и родственников, какие могли оказать помощь, выставили великое войско, чтобы пойти на неприятеля. Прежде чем выступить, не желая оставить королевство без правительства, зная Гвальтьери, графа Анверского, за человека родовитого и умного, верного их друга и слугу, и полагая, что хотя он и хорошо знаком с военным искусством, более склонен к изнеженности, чем к такого рода труду, они на свое место поставили его править королевством Франции в качестве общего наместника, а сами двинулись в путь. И вот Гвальтьери стал править вверенную ему должность разумно и в порядке, всегда обо всем советуясь с королевой и ее невесткой; и хотя они оставлены были под его охраной и властью, он тем не менее чтит их, как государынь и старших. Был означенный Гвальтьери человек из себя красивейший, лет около сорока, столь приятный и обходительный, как только мог быть знатный человек, кроме того, самый привлекательный и изысканный рыцарь, какие только известны были в то время, более других заботившийся об украшении своей особы. И вот, когда французский король с сыном были на упомянутой войне, а Гвальтьери, у которого умерла жена, оставив ему лишь малолетних сына и дочь, часто хаживал ко двору указанных дам, нередко беседуя с ними о нуждах королевства, случилось, что жена королевича обратила на него свои взоры и, с большою любовью созерцая его особу и нравы, вспылала к нему тайной страстью; сознавая себя молодой и свежей и зная, что у него нет жены, она думала, что ее желание легко будет удовлетворить и, полагая, что препятствием тому может быть один лишь ее стыд, решила, отрешившись от него, открыть ему все. Однажды, когда она была одна и время казалось ей удобным, она, будто бы для беседы о других предметах, послала за ним. Граф, мысли которого далеко были от мыслей дамы, отправился к ней без всякого промедления; когда они, по ее желанию, уселись на скамье, одни в комнате, и граф уже дважды спросил ее о причине, по которой она его вызвала, а она смолчала, побужденная, наконец, любовью, вся загоревшись от стыда, почти плача и вся дрожа, прерывающимся голосом она так заговорила: «Дорогой и милый друг и господин мой! Как человек мудрый, вы хорошо знаете, как слабы бывают мужчины и женщины, одни более, чем другие, по различным причинам; потому, по справедливости, перед лицом праведного судьи один и тот же проступок, смотря по разным качествам лица, не получит одинаковое наказание.

Кто станет отрицать, что более заслуживает порицания бедняк или бедная женщина, которым приходится трудом снискивать потребное для жизни, если они отдадутся и последуют побуждениям любви, чем богатая незанятая женщина, которой нет недостатка ни в чем, что отвечает ее желаниям? Я думаю, наверно, никто. По этой причине я полагаю, что указанные условия должны в большей мере послужить к оправданию той, кто в них поставлен, если б ей случилось увлечься к любви, а в остальном ее извинит выбор разумного и доблестного любовника, если любящая сделала именно таковой. Так как оба эти условия, как мне кажется, соединились во мне, и, кроме того, и другие, побуждающие меня любить, как то: моя молодость и отсутствие мужа, – то пусть они и предстанут перед лицом вашим в мою пользу и в защиту моей пламенной страсти; если они подействуют на вас, как должны подействовать на людей разумных, то молю вас дать мне совет и помощь в том, о чем я вас и попрошу. Дело в том, что, не будучи в состоянии, в отсутствие мужа, противодействовать побуждениям плоти и влиянию любви, сила которых такова, что она покоряла и каждый день покоряет не только слабых женщин, но и сильнейших мужчин; живя, как вы можете видеть, в довольстве и безделье, я дала себя увлечь к потворству любовным утехам и к тому, что я влюбилась. Я знаю, что это дело не честное, если бы оно стало известным, хотя считаю его почти не бесчестным, пока оно скрыто; тем не менее Амур был настолько милостив ко мне, что не только не отнял у меня надлежащего разума при выборе любовника, но и много помог мне в этом, указав мне на вас, как на достойного быть любимым такой женщиной, как я, – вас, которого я считаю, если мое мнение не обманывает меня, самым красивым, приятным, самым милым и разумным рыцарем, какого только можно найти в королевстве Франции; и как я вправе сказать, что живу без мужа, так и вы без жены. Потому прошу вас, во имя той любви, которую к вам питаю, не лишиться меня вашей и сжалиться над моей молодостью, заставляющей меня таять, как лед от огня». За этими словами последовало такое обилие слез, что она, желавшая присоединить еще новые просьбы, не в состоянии была говорить далее и, опустив лицо, точно подавленная, в слезах, склонила голову на грудь графа. Граф, как честный рыцарь, строгими укорами стал порицать столь безумную страсть, отстраняя ее от себя, уже готовую броситься ему на шею, и утверждал клятвенно, что он скорее даст себя четвертовать, чем дозволит себе или кому другому такое дело против чести своего повелителя. Когда дама услышала это, быстро забыв любовь и воспламенившись страшным гневом, сказала: «Таким-то образом издеваетесь вы, негодный рыцарь, над моим желанием! Не дай Бог, чтобы я, которую вы хотите довести до смерти, не заставила вас умереть или не извела бы со света». Так сказав, она мгновенно схватила за волосы, вскочила и рвала их и, разодрав на себе одежду, принялась громко кричать: «Помогите, помогите, граф Анверский хочет учинить надо мною насилие!» Как увидел это граф, более опасаясь зависти придворных, чем укоров своей совести, и боясь, что коварство дамы встретит более доверия, чем его невинность, поднялся как только мог быстрее, вышел из комнаты и дворца и побежал в свой дом; недолго думая, он посадил своих детей на коней, и сам, сев верхом, как можно скорее направился по пути в Кале. На крик дамы сбегались многие; увидев ее и узнав причину крика, не только по этому одному поверили ее словам, но и прибавили, что и приятные манеры и наряды долгое время служили графу для того лишь, чтобы добиться этой цели. Поэтому все яростно бросились к дому графа с целью схватить его; не найдя его, они ограбили дом и затем разрушили его до основания. Весть об этом в том гнусном виде, как она рассказывалась, дошла и в войско, к королю, и его сыну; сильно разгневанные, они осудили на вечное изгнание графа и его потомков, обещая великие дары, кто бы доставил его им, живого или мертвого.

Граф, опечаленный тем, что из невинного он, вследствие своего бегства, стал виновным, прибыл с своими детьми в Кале, не объявив себя и, не будучи узнанным, тотчас же переправился в Англию и, бедно одетый, пошел в Лондон. Прежде чем вступить в него, он дал подробное наставление своим малым детям, особенно в двух отношениях: во-первых, чтобы они терпеливо переносили бедственное положение, в которое без их вины судьба повергла их вместе с

ним; затем, чтобы они со всяким тщанием остерегались объявлять кому бы то ни было, откуда они и чьи дети, если им дорога жизнь. А сыну, по имени Луиджи, было, быть может, девять лет, дочери, по имени Виоланта, около шести; насколько позволял их нежный возраст, они очень хорошо поняли наставление своего отца и впоследствии показали это на деле. А для того, чтобы все устроить лучше, ему показалось необходимым переменить им имена, что он и сделал, назвав мальчика Перотто, а девочку Джьяннеттой. Прибыв, бедно одетые, в Лондон, они стали ходить и просить милостыни, как, мы видим, делают то французские нищие. Когда однажды они были за таким делом в церкви, случилось, что одна большая дама, жена одного из маршалов английского короля, выходя из церкви, увидела графа с двумя детьми, просивших милостыню. Она спросила его, откуда он и его ли это дети; на что он ответил, что он из Пикардии и вследствие проступка своего старшего сына-негодяя должен был удалиться с этими двумя своими детьми. Дама была сострадательна; поглядев на девочку, которая ей очень понравилась, ибо она была хорошенькая, милая и приветливая, она сказала: «Почтенный человек, если ты согласен предоставить мне эту девочку, я охотно возьму ее, – она так миловидна; если она выйдет достойной женщиной, я выдам ее замуж, когда будет время, так что ей будет хорошо». Эта просьба сильно приглянулась графу, он тотчас ответил утвердительно и отдал ей со слезами девочку, настоятельно поручая ее попечению дамы.

Так, устроив дочку и зная, у кого именно, он решил здесь более не оставаться; пробираясь по острову, он вместе с Перотто добрался до Валлиса не без великого труда, ибо не был привычен ходить пешком. Здесь жил другой из королевских маршалов, державший большой дом и много прислуги; ко двору его часто являлся граф с сыном, чтобы покормиться. Был там сын маршала и еще другие дети знатных людей, и, когда они занимались такими детскими играми, как беганье и прыганье, Перотто стал принимать в них участие, оказываясь столь же ловким и более чем кто-либо другой во всяком упражнении, какое они промеж себя устраивали. Когда маршал увидел его несколько раз и ему очень понравились обращение и манеры ребенка, он спросил, кто он такой. Ему сказали, что это сын одного бедняка, иногда являющегося сюда за милостыней. Маршал велел попросить его отдать его ему, и граф, ни о чем другом не моливший Бога, уступил его охотно, хотя и тяжело ему было расстаться с ним.

Устроив таким образом сына и дочь, он решил не оставаться более в Англии и, пробравшись, как мог, в Ирландию, прибыл в Станфорд, где поместился случайно у одного рыцаря тамошнего графа, исполняя все, что подобает делать слуге или конюху; здесь, никем не узнанный, он прожил долгое время в больших лишениях и трудах.

Виоланта, прозванная Джьяннеттой, жила у знатной дамы в Лондоне, преуспевала с годами ростом и красотой, снискав такое расположение дамы, и ее мужа, и других домашних, и всех, кто ее знал, что было на диво; и не было никого, кто бы, обратив внимание на ее нравы и манеры, не признал ее достойной величайшего блага и почести. Вследствие того знатная дама, которая взяла ее от отца и не в состоянии была узнать, кто он, кроме того разве, что он сам ей сказал, решила выдать ее приличным образом замуж, согласно с положением, к которому она, по ее мнению, принадлежала. Но Господь, праведный ценитель заслуг, зная, что она, женщина родовитая, без своей вины несет наказание за чужое преступление, решил иначе, и, надо полагать, именно для того, чтобы родовитая девушка не попала в руки худородного человека, по его милости приключилось следующее. Был у знатной дамы, у которой жила Джьяннетта, один сын от мужа, которого она и отец очень любили как сына и потому еще, что по своим качествам и достоинствам он стоил того, ибо более, чем кто другой, он был хороших нравов, доблестный и мужественный и красивый из себя. Он был годами шестью старше Джьяннетты; видя ее красивой и прелестной, он так сильно в нее влюбился, что выше ее ничего не видел. Воображая, что она низкого происхождения, он не только не осмеливался попросить ее в жены у отца и матери, но, боясь, чтобы его не упрекнули за любовь, направленную столь низменно, по мере сил держал ее в тайне, почему она возбуждала его более, чем если бы была явной.

Оттого случилось, что от избытка печали он захворал, и трудно. Когда для ухода за ним позвали врачей и они, исследовав тот и другой признак, не могли определить, какая у него болезнь, все одинаково отчаялись в его выздоровлении. Отец и мать юноши ощутили такое горе и печаль, что большего невозможно было бы и вынести; несколько раз они в жалобных мольбах допрашивали его о причине его недуга, на что он либо слабо отвечал вздохами, либо говорил, что чувствует, как чахнет. Случилось однажды, что, когда у него сидел врач, очень молодой, но глубоко ученый, и держал его за руку в том месте, где они шупают пульс, вошла в комнату, где лежал юноша, Джьяннетта, внимательно ухаживавшая за ним из угождения его матери. Когда юноша увидел ее, не говоря ни слова и не делая никакого движения, он ощутил, что в сердце его любовное пламя разгорелось с большей силой, вследствие чего и пульс стал биться сильнее обыкновенного; врач тотчас же заметил это, изумился и молча стал наблюдать, долго ли будет продолжаться это биеение. Когда Джьяннетта вышла из комнаты, остановилось и биеение, почему врачу показалось, что он отчасти узнал причину недуга юноши; обождав немного, он как бы затем, чтобы о чем-то спросить у Джьяннетты, велел позвать ее, все время держа больного за руку. Она явилась тотчас же; не успела она войти в комнату, как у юноши обновилось биеение пульса; когда она ушла, оно прекратилось. Вследствие этого врач, вполне, как ему казалось, уверившись, встал и, отведя в сторону отца и мать юноши, сказал им: «Здоровье вашего сына не в силах врача, а в руках Джьяннетты, которую, как я явственно узнал по некоторым признакам, юноша пламенно любит, хотя она, насколько я вижу, о том и не догадывается. Теперь вы знаете, что вам надо делать, если его жизнь вам дорога». Услышав это, почтенный человек и его жена обрадовались, поскольку нашлось-таки средство к его спасению, хотя им и неприятно было, что средство было именно такое, какого они опасались, то есть что придется дать Джьяннетту сыну в жены. Итак, по уходе врача, они пошли к больному, которому мать сказала так: «Сын мой, я никогда не ожидала, что ты скроешь от меня какое-нибудь твоё желание, особенно когда ты сознаешь, что от неисполнения его тебе становится худо; ибо ты должен был бы быть и прежде и теперь уверен, что нет такой вещи для твоего удовольствия, которую, хотя бы и непристойную, я бы не сделала для тебя, как для себя самой. Хотя ты и поступил таким образом, Господь был милостивее к тебе, чем ты сам, и дабы ты не умер от этого недуга, указал мне его причину, которая не в чем ином, как в необычайной любви, которую ты питаешь к какой-то девушке, кто бы она ни была. На самом деле тебе нечего было стыдиться открыть это, ибо того требуют твои лета, и если б ты не был влюблен, я почла бы тебя за ничтожного человека. Итак, сын мой, не стерегись меня и открой мне безбоязненно свое желание; брось печаль и всякую мысль, от которой происходит этот недуг, ободрись и будь уверен, что нет той вещи, тебе желанной, которую ты возложил бы на меня, а я бы не исполнила по возможности, ибо люблю тебя более своей жизни. Отгони стыд и страх и скажи мне, не могу ли я чего-либо сделать для твоей любви, и если ты найдешь, что я для того не стараюсь и не добьюсь цели, считай меня самой жестокой матерью, когда-либо имевшей сына». Услышав речи матери, юноша сначала устыдился, но затем, подумав, что никто лучше ее не мог бы удовлетворить его желанию, отогнав стыд, сказал ей таким образом: «Мадонна, не что иное не побудило меня скрыть свою любовь, как наблюдение, сделанное мною над многими лицами, которые, будучи в летах, не желают вспомнить, что и они были молоды. Но так как, я вижу, вы рассудительны, я не только не стану отрицать того, о чем вы, как говорите, догадались, но и открою вам все, с условием, что исполнение последует за вашим обещанием по мере возможности; таким образом вы можете учинить меня здоровым». Мать, слишком надеясь на то, чего ей не удалось сделать тем способом, какой она имела в виду, отвечала прямо: «Пусть безбоязненно откроет ей свое желание, ибо она без замедления устроит дело так, что он достигнет, чего хочет». — «Мадонна, — сказал тогда юноша, — великая красота и похвальное обхождение нашей Джьяннетты и возможность заставить ее догадаться о моей любви, не только что побудить к жалости, и страх открыться в своем чувстве кому бы то ни было — все это

привело меня в состояние, в каком меня видите, и если тем или другим образом не последует того, что вы мне обещали, будьте уверены, что жизнь моя сочтена». Мать, которой казалось, что теперь время скорее для утешения, чем для упреков, сказала, улыбаясь: «Ах, сын мой, так из-за этого ты дал себя довести до недуга? Утешься и дай мне все устроить, как только ты выздоровеешь». Исполненный добрых надежд, молодой человек в короткое время показал признаки большого улучшения, чему мать сильно обрадовалась и принялась пытаться, как бы исполнить то, что обещала. Позвав однажды Джьяннетту, она спросила, как бы в шутку и очень дружелюбно, есть ли у нее любовник. Джьяннетта, вся покраснев, ответила: «Мадонна, бедной девушке, изгнанной, как я, из дома и живущей в услужении других, как мне приходится, не надо, да и не пристало заниматься любовью». На это мать сказала: «Если у вас нет милого, мы дадим вам его, отчего вы заживете весело и еще более насладитесь вашей красотой; ибо не годится такой красивой девушке, как вы, жить без любовника». На это Джьяннетта ответила: «Мадонна, вы взяли меня у моего бедного отца и вырастили меня, как дочь, почему я обязана была бы исполнить всякое ваше желание; но в этом я не ужоу вам, полагая, что поступлю хорошо. Если вам угодно будет дать мне мужа, его я намерена любить, но другого – нет, ибо из наследия моих предков мне ничего не осталось, кроме чести, которую я намерена беречь и охранять, пока я буду жива». Слова эти показались даме совсем противоположными тому, чего она думала добиться, дабы исполнить данное сыну обещание; хотя, как умная женщина, внутренне одобряя девушку, она сказала: «Как, Джьяннетта? Если бы его величество король – молодой рыцарь, как ты – красивая девушка, пожелал насладиться твоей любовью, отказала ли бы ты ему?» На это она тотчас же ответила: «Король мог бы учинить надо мною насилие, но с моего согласия никогда не мог бы добиться от меня ничего, что было бы не честно». Поняв, каково настроение ее души, дама, оставив эти речи, задумала подвергнуть ее испытанию и так сказала и сыну, что, когда он выздоровеет, она поместит ее в одну с ним комнату, а он пусть попытается добиться от нее исполнения своего желания, причем заметила, что ей кажется неприлично, точно сводне, уговаривать и просить девушку за сына. С этим сын никоим образом не согласился, и внезапно его болезнь сильно ухудшилась. Увидев это, мать открыла свое намерение Джьяннетте, но, найдя ее более твердой, чем когда-либо, рассказала все, что сделала, своему мужу, и хотя это казалось им тягостным, они с общего согласия решили дать ее ему в жены, предпочитая видеть сына в живых с женой не сверстницей, чем мертвым без жены. После многих рассуждений они так и сделали, чему Джьяннетта очень обрадовалась, с преданным сердцем благодаря Бога, что не забыл ее; несмотря на это, она никогда не называла себя иначе, как дочерью пикардийца. Молодой человек выздоровел, сыграл свадьбу веселее, чем кто-либо другой, и зажил с ней прекрасно.

Перотто, оставшийся в Валлисе при маршале английского короля, выросши, также вошел в милость своего господина, стал красивее и мужественнее кого-либо другого на острове, так что никто в той стране не мог сравниться с ним на турнирах и ристалищах ни в каком ином военном деле, вследствие чего, прозванный всеми Перотто-пикардиец, он стал известным и славным. И как Господь не забыл его сестры, так точно показал, что и его помнит, ибо, когда в той стране настал чумный мор, он унес почти половину населения, не говоря уже о том, что большая часть оставшихся в живых убежала из страха в другие области, почему страна казалась совсем оставленной; во время этого мора скончался его господин, маршал, его жена и сын и многие другие, братья и племянники и все его родственники, и осталась от него одна лишь дочь, девушка на выданье, да с некоторыми другими служителями Перотто. Его-то, когда чума несколько уменьшилась, как человека мужественного и достойного, девушка, с согласия и по совету немногих оставшихся в живых обывателей, взяла себе в мужа, сделав его хозяином всего, доставшегося ей по наследью. И прошло немного времени, как король Англии, услышав о смерти маршала и зная о доблестях пикардийца Перотто, назначил его на место покой-

ного, сделав своим маршалом. Вот что в короткое время приключилось с двумя неповинными детьми графа Анверского, которых он оставил, как бы утратив.

Уже прошло восемнадцать лет с тех пор, как граф Анверский, спасаясь бегством, покинул Париж, когда у него, проживавшего в Ирландии, многое претерпевшего в беднейшем существовании и уже видевшего себя в старости, явилось желание узнать, коли можно, что случилось с его детьми. Потому, видя себя по внешности совершенно изменившимся сравнительно с тем, чем был, и ощущая себя, вследствие долгих упражнений, более крепким, чем прежде, когда юношею жил в праздности, он, бедный и в нищем виде, оставил того, у кого долго жил, и, отправившись в Англию, пошел туда, где покинул Перотто. Он нашел его маршалом и большим барином, увидел его здоровым, крепким и красивым собою, что ему было очень приятно, но он не пожелал открыться ему, пока не разузнает о Джьяннетте. Вследствие чего, снова пустившись в путь, он не останавливался, пока не прибыл в Лондон; здесь, осторожно расспросив о даме, у которой он оставил Джьяннетту, и о ее положении, он нашел Джьяннетту женой ее сына; это очень было ему приятно, и он счел ничтожными все предыдущие бедствия, найдя своих детей в живых и хорошо устроенными; желая увидеть Джьяннетту, он, как нищий, стал ходить по соседству ее дома. Там увидел его однажды Джьяккетто Ламиэн, – так звали мужа Джьяннетты, – и, ощутив к нему жалость, видя его старым и нищим, приказал одному из своих слуг отвести его в дом и дать ему поесть Бога ради, что слуга охотно и сделал. У Джьяннетты было от Джьяккетто несколько сыновей, из которых старшему было не более восьми лет, и были они самые красивые и милые дети на свете. Когда увидели они графа за едой, тотчас все окружили его и приласкали, точно, движимые тайной силой, они почувствовали, что это их дед. Он, зная, что это его внуки, стал оказывать им любовь и ласки, почему дети не хотели от него отстать, хотя их и звал тот, кому поручен был уход за ними; потому, услышав это, Джьяннетта вышла из комнаты и, явившись туда, где был граф, сильно пригрозила детям побоями, если они не станут делать того, чего хочет их учитель. Дети принялись плакать, говоря, что желают быть с этим почтенным человеком, который любит их более, чем учитель; чему и мать, и граф посмеялись. Граф встал, чтобы не как отец, а как бедняк почтить не дочь, а даму, и, увидев ее, ощутил невыразимое удовольствие. Но она ни тогда, ни впоследствии не признала его вовсе, ибо он чрезвычайно изменился против того, чем был, так как был стар и сед и борода, стал худым и смуглым, и скорее казался каким-то другим человеком, чем графом. Когда дама увидела, что дети не хотят отойти от него и плачут, когда их желали увести, она сказала учителю, чтобы он дозволил им остаться некоторое время. Когда таким образом дети остались с тем почтенным человеком, случилось, что вернулся отец Джьяккетто и узнал об этом от учителя; потому он, не любивший Джьяннетту, сказал: «Оставь их, да пошлет им Господь злую долю! Ведь они в того, от кого произошли: пошли по матери от бродяги, потому нечего и удивляться, если они охотно водятся с бродягами». Эти слова услышал граф, и они сильно удручили его; тем не менее, пожав плечами, он перенес это оскорбление, как переносил многие другие. Джьяккетто узнал, с какою радостью дети приняли почтенного человека, то есть графа, и хотя это ему не нравилось, тем не менее он так любил их, что, не желая видеть их в слезах, приказал, если тот человек пожелает остаться у них при какой-нибудь должности, то чтобы его приняли. Тот отвечал, что останется охотно, но ничего другого не знает, как ходить за лошадьми, к чему привык всю жизнь. Дали ему лошадь; окончив уход за нею, он занимался тем, что забавлял детей.

В то время как судьба руководила таким образом, как было рассказано, графа Анверского и его детей, случилось, что король Франции, заключив много перемирий с немцами, скончался и на его место венчан был его сын, чья жена была та самая, из-за которой изгнан был граф. Когда кончилось последнее перемирие с немцами, он возобновил жесточайшую войну, на помощь ему король английский, в качестве нового родственника, послал много народа под предводительством своего маршала Перотто и Джьяккетто Ламиэн, сына другого маршала, с

которыми пошел и почтенный человек, то есть граф; не будучи никем узнан, он долгое время оставался в войске в качестве конюха и здесь, как человек знающий, советом и делом сделал много добра, более, чем от него требовалось. Случилось во время войны, что французская королева тяжело заболела; сознавая свое приближение к смерти, покайся во всех своих грехах, она благочестиво исповедалась архиепископу руанскому, которого все считали святейшим и добрым человеком, и в числе прочих грехов рассказала ему и то, что из-за нее, по великой несправедливости, понес граф. И она не только не удовольствовалась этим, но и в присутствии многих других достойных людей рассказала, как все было, прося их подействовать на короля, чтобы граф, если он жив, а коли нет, то кто-нибудь из его сыновей были восстановлены в прежнее положение. Прошло немного времени, как она покинула эту жизнь и была похоронена с почестями. Эта исповедь, переданная королю, вызвав в нем несколько горестных вздохов по поводу зла, несправедливо учиненного достойному человеку, побудила его пустить по всему войску, а кроме того, и во многих других местах оповещение, что если кто укажет ему, где находится граф Анверский или кто из его сыновей, будет чудесно вознагражден за каждого, ибо, вследствие исповеди, принесенной королевой, он считает его невинным в том, за что он подвергся изгнанию, и намерен возратить ему прежнее и еще большее положение. Услышав о том, граф, бывший в образе конюха, и зная, что все это так, тотчас же отправился к Джьяккетто и попросил его вместе пойти к Перотто, ибо он желает указать им то, чего ищет король. Когда все трое сошлись вместе, граф сказал Перотто, уже задумавшему объявить, кто он: «Перотто! Джьяккетто, здесь присутствующий, женат на твоей сестре и никогда не получал за нее приданого; потому, дабы твоя сестра не была бесприданницей, я желаю, чтобы он, а не кто другой получил большую награду, обещанную королем за тебя (знай, что ты сын графа Анверского) и за Виоланту, твою сестру, а его жену, и за меня, графа Анверского и вашего отца». Услышав это, пристально посмотрев на него, Перотто тотчас же признал его, бросился в слезах к его ногам и обнял, говоря: «Отец мой, добро пожаловать!» Когда Джьяккетто, первых, услышал, что говорил граф, а затем увидел, что сделал Перотто, он охвачен был в одно и то же время таким изумлением и радостью, что едва понимал, что ему предпринять; тем не менее поверив рассказу и сильно стыдясь за бранные слова, обращенные им прежде к графу-конюху, упал ниц к его ногам, смиренно прося простить ему всякое прежнее оскорбление, что граф и сделал очень ласково, приподняв его. Когда все трое побеседовали о разных приключениях каждого из них и много поплакали и порадовались вместе, Перотто и Джьяккетто хотели переодеть графа, но он не допустил этого никоим образом, а пожелал, чтобы Джьяккетто, получа наперед уверенность в обещанной награде, представил его королю, как есть, в той самой одежде конюха, дабы более пристыдить его. Итак, Джьяккетто, с графом и Перотто позади, явился перед лицом короля и предложил представить ему графа и его сыновей, если он наградит его согласно оповещению. Король тотчас же велел принести награду за всех, изумительную по мнению Джьяккетто, и сказал, что он может взять ее себе, если поистине покажет графа и его сыновей, как то обещал. Тогда Джьяккетто, обернувшись назад и поставив впереди себя графа-конюха и Перотто, сказал: «Государь мой, вот отец и сын; дочери, моей жены, здесь нет, но с Божьей помощью вы ее скоро увидите». Услышав это, король посмотрел на графа, и хотя тот сильно изменился против прежнего, тем не менее, немного поглядев, он узнал его, стоявшего на коленях, поцеловал и обнял и, дружественно обойдясь с Перотто, приказал, чтобы граф по отношению к одежде, прислуге и утвари снова был поставлен в такое положение, какое требует его родовитость; что и было тотчас же исполнено. Кроме того, король много учествовал Джьяккетто и пожелал узнать о его прошлой судьбе. Когда же Джьяккетто взял великие награды за то, что указал графа и его сыновей, граф сказал: «Возьми это от щедрот государя моего короля и не забудь сказать своему отцу, что твои сыновья, его и мои внуки, не от бродяги по матери». Джьяккетто, получив награды, вызвал в Париж жену и ее свекровь; приехала туда и жена Перотто, и все пребывали здесь в великом веселии с графом, которого

король восстановил во всем его имуществе и возвысил более, чем когда-либо. Затем всякий, с его позволения, вернулся восвояси, а он до самой смерти жил в Париже в большей славе, чем когда-либо.

Новелла девятая

Бернабо из Генуи, обманутый Амброджиоло, теряет свое достояние и велит убить свою невинную жену. Она спасается и в мужском платье служит у султана; открыв обманщика, она направляет Бернабо в Александрию, где обманщик наказан, а она, снова облачась в женское платье, разбогатев, возвращается с мужем в Геную

Когда Елиза, рассказав свою трогательную новеллу, исполнила свой долг, королева Филомена, красивая и высокая из себя и более других приятная и веселая с лица, подумав, сказала: «Надо соблюсти условие с Дионео, и так как, кроме его и меня, никому не осталось рассказывать, я первая расскажу свою новеллу, а ему, просившему о том, как о милости, придется говорить последнему». Сказав это, она так начала: – В просторечии часто говорится такая присказка, что обманщик попадает под ноги к обманутому, что, кажется, трудно было бы подтвердить каким бы то ни было доводом, если бы не доказывали того приключаящиеся дела. Потому, в исполнение нашей задачи, милейшие дамы, у меня явилось вместе с тем и желание доказать, что то, что говорят, верно; а вам не может быть неприятно послушать о том, дабы уметь остережться от обманщиков.

В одной гостинице в Париже собралось несколько больших итальянских купцов, кто по одному делу, кто по другому, как это водится у них; однажды вечером, весело поужинав, они стали беседовать о разных предметах и, переходя от одного разговора к другому, добрались и до разговора о своих женах, оставленных дома; кто-то и сказал шутя: «Я не знаю, что поделяет моя жена, но знаю, что, когда мне подвернется под руки какая-нибудь девушка, которая мне понравится, я оставляю в стороне любовь, которую питаю к моей супруге, и беру от этой какое могу удовольствие». Другой заметил: «И я поступаю так же, ибо если я представлю себе, что жена моя ищет какого-нибудь приключения, то она так и делает; коли не представлю себе, она все же так сделает; потому будем делать, как там делают: насколько осел лягнет в стену, настолько ему и отзовется». Третий пришел, беседуя, почти к такому же заключению. Одним словом, все, казалось, согласилось на том, что оставленные ими жены не станут терять времени; только один, по имени Бернабо Ломеллино из Генуи, сказал противное, утверждая, что у него, по особой милости Божией, супруга – женщина более одаренная всеми добродетелями, которые подобает иметь женщине, и даже, в большей мере, рыцарю или конюшему, чем, быть может, какая иная в Италии, ибо она красивая собой, очень молода, ловка и сильна, и нет такой работы, относящейся до женщины, как то: работы шелком и тому подобной, которую бы она не исполняла лучше всякой другой. Кроме того, он говорил, что не найдется ни одного конюшего или, скажем, слуги, который лучше и ловчее прислуживал бы за столом господина, чем она, ибо она отлично воспитана, мудра и разумна. Затем он похвалил ее за то, что она хорошо умеет ездить верхом, держать ловчую птицу, читать, писать и считать лучше, чем если бы была купцом; от этого он, после многих других похвал, дошел и до того, о чем рассуждали, и утверждал клятвенно, что не найдется ее честнее и целомудреннее, почему он вполне уверен, что если бы он десять лет или всегда оставался вне своего дома, она никогда бы не обратилась за такими делами к другому мужчине.

Был там в числе беседовавших таким образом купцов молодой купец, по имени Амброджиоло из Пиаченцы, который при последней хвале, возданной Бернабо своей жене, принялся хохотать, как только можно, и, издеваясь, спросил его, не император ли дал ему эту привилегию преимущественно перед другими мужчинами. Бернабо, несколько рассерженный, сказал, что не император, а Господь, который, вероятно, посильнее императора, даровал ему эту милость. Тогда Амброджиоло сказал: «Бернабо, я нисколько не сомневаюсь, что ты уверен в том, что

говоришь правду; но, сколько мне кажется, ты мало присмотрелся к природе вещей, ибо, если бы присмотрелся, то, конечно, ты не настолько непонятлив, чтобы не заметить в ней многого, что бы заставило тебя сдержаннее говорить об этом предмете. А для того, дабы ты не вообразил себе, что мы, столь свободно говорившие о наших женах, обладаем другими женами и иначе сделанными, чем ты, а говорили так по побуждению естественного благоразумия, я хочу немного побеседовать с тобою об этом предмете. Я всегда слышал, что мужчина – самое благородное животное из всех смертных, созданных Богом, а затем уже женщина; но мужчина, как обыкновенно полагают и видно по поступкам, более совершенен и, обладая большим совершенством, должен, без сомнения, быть более стойким, каковым и оказывается, ибо вообще женщины подвижнее; почему – это можно было бы доказать многими естественными причинами, о которых я теперь намерен умолчать. Если, таким образом, мужчина, обладая большею твердостью, не может воздержаться, не говорю уже от снисхождения к просящей и от вождения к той, кто ему нравится, и не говоря о вождении, от желания сделать все возможное, лишь бы сойтись с нею, и это случается с ним не раз в месяц, а тысячу раз в день, то неужели ты надеешься, что женщина, по природе подвижная, может противостоять просьбам, лести, подаркам и тысяче других средств, которые употребит в дело, полюбив ее, умный человек? Думаешь ли ты, что они воздержатся? Разумеется, хотя ты в том и уверяешь сам себя, я не верю, что ты в то веришь: сам же ты говоришь, что жена твоя – женщина, что она из плоти и костей, как другие; если так, то у ней должны быть те же желания и те же силы противодействовать естественным побуждениям, что и у других; поэтому возможно, что и она, хотя честнейшая, сделает то же, что и другие, и нет возможности так рьяно отрицать это, доказывая противоположное, как ты это делаешь». На это Бернабо ответил, сказав: «Я купец, а не философ, и отвечу как купец. Я говорю и знаю, что то, о чем ты говоришь, может приключиться с неразумными, у которых нет никакого стыда; те же, которые разумны, так пекутся о своей чести, что, оберегая ее, становятся сильнее мужчин, которым до того мало дела; к таковым принадлежит и моя жена». Амброджиоло сказал: «Действительно, если бы всякий раз, как они займутся таким делом, у них вырастал рог на лбу, который свидетельствовал бы об учиненном ими, я полагаю, было бы мало таких, кто бы стал этим заниматься; но не только что не вырастут рога, у рассудительных не объявляется ни следа, ни последствий, а стыд и ущерб чести ни в чем другом не состоит, как в том, что выходит наружу; потому, когда они могут сделать это тайно, они и делают, а не делают лишь по глупости. Будь уверен, что та лишь целомудренна, которую либо никто никогда не просил, либо та, просьба которой не была услышана. И хотя я знаю, что так по естественным и действительным причинам быть должно, я не стал бы говорить о том столь уверенно, как говорю, если бы не испытал того много раз и со многими. И говорю тебе так: если бы я пробыл с твоей святейшей женой, я ручаюсь, что в короткое время довел бы ее до того, до чего доводил и других». Раздраженный Бернабо ответил: «Спор на словах может затянуться надолго, ты стал бы говорить, я также, а в конце это не привело бы ни к чему. Но так как ты говоришь, что все столь сговорчивы и уж таково твое уменье, я для того, чтобы убедить тебя в честности моей жены, готов, чтобы мне отрубили голову, если ты когда-либо сумеешь склонить ее к твоему удовольствию в таком деле; если ты не сможешь, то я желаю, чтобы ты поплатился не более как тысячею золотых флоринов». Амброджиоло, уже разгоряченный этим спором, сказал: «Бернабо, я не знаю, что бы я сделал с твоею кровью, если б выиграл, но коли ты желаешь видеть на опыте то, о чем я говорил тебе, положи своих пять тысяч золотых флоринов, которые должны быть тебе менее дороги, чем твоя голова, против моих тысячи; и коли ты не назначишь срока, я обязуюсь отправиться в Геную и в три месяца со дня, когда отсюда уеду, исполнить мое желание с твоей женой, а в знамение того привезти с собою из вещей, ей наиболее дорогих, и такие признаки, что ты сам сознаешься, что это так – если только ты обещаешь мне честным словом не приезжать за это время в Геную и ничего не писать жене об этом предмете». Бернабо сказал, что охотно соглашается, и хотя другие бывшие

там купцы старались расстроить это дело, зная, что из этого может выйти большое зло, тем не менее оба купца так разгорячились духом, что, против желания других, обязались друг другу настоящим собственноручным условием.

По совершении условия Бернабо остался, а Амброджиоло, при первой возможности, уехал в Геную. Прожив здесь несколько дней и с большой осторожностью осведомившись о названии улицы и о нравах той дамы, он услышал то же и еще большее, чем слышал от Бернабо, почему его затея представилась ему безумной. Тем не менее, познакомившись с одной бедной женщиной, которая часто ходила к той даме и которую та очень любила, он, не успев побудить ее ни к чему иному, подкупил ее с тем, чтобы она велела внести его в ящике, устроенном им по своему способу, не только в дом, но и в покой почтенной дамы; здесь, будто имея надобность куда-то пойти, та женщина, согласно указанию Амброджиоло, и попросила побережь его несколько дней. Когда ящик остался в комнате и наступила ночь, Амброджиоло рассчитал час, когда дама заснула, открыл ящик кое-какими своими орудиями и тихо вступил в комнату, в которой горел свет. Тогда он принялся рассматривать расположение комнаты, живопись и все, что там было замечательного, запечатлевая это в своей памяти. Затем, подойдя к постели и заметив, что дама и бывшая с нею девочка крепко спят, тихо раскрыв ее всю, увидел, что она так же красива нагая, как и одетая, но не открыл ни одного знака, о котором мог бы рассказать, кроме одного, бывшего у ней под левой грудью, то есть родинки, вокруг которой было несколько волосков, блестевших, как золото; увидев это, он тихо закрыл ее, хотя, найдя ее столь прекрасной, он и ощутил желание отважить свою жизнь и прилечь к ней, тем не менее, слыша, что относительно этого она строга и неприступна, он не отважился; свободно проведя большую часть ночи в ее комнате, он вынул из ее ящика кошелек и верхнее платье, несколько колец и поясов и, положив все это в свой сундук, снова вошел в него и запер, как прежде.

Так он делал в течение двух ночей, так что дама о том и не догадалась. Когда настал третий день, та женщина, согласно данному приказанию, вернулась за своим ящиком и отнесла его, откуда доставила; выйдя из него и ублажив женщину, согласно обещанию, он как мог скорее вернулся с указанными вещами в Париж до назначенного им срока. Здесь, созвав купцов, бывших при разговорах и закладах, он в присутствии Бернабо сказал, что выиграл положенный между ними заклад, ибо исполнил то, в чем похвастался; а в доказательство, что это правда, он, во-первых, описал расположение комнаты и ее живопись, затем показал и привезенные им вещи дамы, утверждая, что получил их от нее. Бернабо сознался, что комната так именно расположена, как он говорит, и сказал, что признает те вещи за принадлежавшие в самом деле его жене, но заметил, что он мог разузнать от кого-нибудь из слуг о расположении комнат и таким же образом овладеть и вещами; потому, если он не покажет чего другого, то это представляется ему недостаточным для того, чтобы тот мог сказаться победителем. Потому Амброджиоло сказал: «Поистине этого было бы достаточно, но так как ты желаешь, чтобы я сказал больше, я скажу. Скажу тебе, что у мадонны Джиневры, твоей жены, под левой грудью порядочная родинка, вокруг которой до шести волосков, блестящих как золото».

Как услышал это Бернабо, ему почудилось, точно его ударили ножом в сердце, такую печаль он ощутил; совсем изменившись в лице, если бы он и не произнес ни слова, он тем ясно показал, что сообщенное Амброджиоло справедливо, и по некотором времени сказал: «Господа, то, что говорит Амброджиоло, справедливо; потому, так как он выиграл, пусть и придет, когда угодно, и ему будет заплачено». Так на следующий день он сполна заплатил Амброджиоло. Выехав на другой день из Парижа, Бернабо отправился в Геную, ожесточенный духом против жены. Приближаясь к городу, он не пожелал вступить в него, а остался в двадцати милях в одном своем поместье; одного из своих слуг, которому очень доверял, послал с двумя конями и письмом в Геную, написав жене, что он вернулся и чтобы она прибыла к нему с слугою, а ему тайно приказал, что, когда он с женою будет в местности, которая покажется ему удобной, он без всякого милосердия убил бы ее и вернулся бы к нему. Когда слуга прибыл в Геную, отдал

письмо и исполнил поручение, жена приняла его с большой радостью и на другое утро, сев с слугою на коней, поехала по дороге к своему поместью. Путешествуя вместе и рассуждая о разных вещах, они прибыли в лощину, очень глубокую, уединенную, окруженную высокими скалами и деревьями; так как слуге это место показалось таким, что он может, безопасно для себя, исполнить приказание своего хозяина, он вытащил нож и, схватив даму за руку, сказал: «Мадонна, поручите душу Богу, ибо вам придется, не ходя дальше, умереть». Увидев нож и услышав эти слова, дама, совсем испуганная, сказала: «Помилосердствуй, ради Бога, и скажи, прежде чем убить меня, чем я тебя оскорбила, что ты должен убить меня?» – «Мадонна, – ответил слуга, – меня вы ничем не оскорбили, а чем вы оскорбили вашего мужа, о том я знаю лишь потому, что он велел мне, безо всякого милосердия к вам, убить вас на этом пути; если бы я того не сделал, он обещался повесить меня. Вы знаете, насколько я ему обязан и могу ли я сказать да или нет в возложенном им на меня деле. Господь ведает, мне жаль вас, а иначе поступить я не могу». Дама, в слезах, сказала: «Смилуйся, ради Бога, не пожелай сделаться, услуживая другому, убийцей человека, никогда тебя не оскорбившего. Господь, все ведающий, знает, что я никогда не совершала ничего, за что должна была бы получить от моего мужа подобное воздаяние. Но оставим пока это, ты можешь, коли пожелаешь, заодно угодить Богу и своему хозяину и мне – таким образом: возьми это мое платье, дай мне только твой камзол и плащ, с ними вернись к моему и твоему господину и скажи, что ты убил меня; а я клянусь тебе жизнью, которую ты мне даруешь, что я удалюсь и уйду в такие места, что ни до тебя, ни до него, ни в эти страны никогда не дойдут обо мне вести». Слуга, неохотно снаряжавшийся убить ее, легко поддался чувству сострадания; потому, взяв ее платья и отдав ей дрянной камзол и плащ и оставив при ней несколько денег, какие были, он попросил ее удалиться из этих мест и оставил ее пешею в лощине, а сам отправился к своему хозяину, которому сказал, что не только исполнил его поручение, но и покинул ее мертвое тело среди стаи волков.

Бернабо по некотором времени вернулся в Геную, и когда об этом деле узнали, сильно порицали его. Дама осталась одна, неутешная; когда настала ночь, она, изменив насколько можно свой вид, пошла к одному двору, что был поблизости; здесь одна старуха доставила ей все нужное, а она приладила по себе камзол, укоротила его, сделала себе из своей сорочки пару шаровар, остригла волосы и, обратив себя по виду в моряка, направилась к морю, где, на счастье, встретила каталонского дворянина, по имени синьора Энкарарха, сошедшего со своего корабля, стоявшего неподалеку, в Альбе, чтобы прохладиться у одного источника. Вступив с ним в разговор, она устроилась при нем в качестве служителя и села на его судно, называя себя Сикурано из Финале. Здесь, когда почтенный человек придел ее в лучшее платье, она принялась служить ему так хорошо и искусно, что вошла к нему в чрезвычайную милость.

Случилось не по многу времени, что этот каталонец с грузом отплыл в Александрию, привез султану несколько отлетных соколов и преподнес их ему; султан, не раз приглашавший его к обеду, заметил обхождение Сикурано, всегда являвшегося прислуживать, и так он ему понравился, что он попросил каталонца уступить его ему, и тот исполнил его просьбу, хотя это было ему и неприятно. В короткое время Сикурано своей хорошей службой снискал у султана не менее милости и любви, чем какими пользовался у каталонца. Случилось с течением времени, что, когда в известную пору года должно было состояться в Акре, бывшей под властью султана, большое сборище христианских и сорочинских купцов, нечто вроде ярмарки, а для охранения купцов и товаров султан посылал туда обыкновенно, кроме других своих чиновников, какого-нибудь из своих сановников с людьми, которые блюли бы за охраной, для такого дела, когда наступила пора, он решил отправить Сикурано, уже отлично знавшего их язык; так он и сделал. Когда, таким образом, Сикурано явился в Акру, как начальник и предводитель купечкой и товарной охраны, и здесь хорошо и тщательно исполнял все относящиеся до его обязанности, ходя и дозирая кругом, он увидел много купцов из Сицилии и Пизы, генуэзцев, венецианцев и других итальянских, с которыми охотно сближался, поминая свою родину.

Вышло раз, между прочим, что, когда он остановился у лавки каких-то венецианских купцов, увидел в числе других драгоценностей кошельки и пояс, которые он тотчас же признал за свои, чему удивился; не показывая вида, он вежливо спросил, чьи они и не продажны ли. Прибыл туда Амброджиоло из Пьяченцы с большим товаром на венецианском судне; услышав, что начальник стражи спрашивает, чьи это вещи, он выступил вперед и сказал, смеясь: «Мессере, это вещи мои, и я не продаю их, но если они вам нравятся, я охотно подарю их вам». Видя, что он смеется, Сикурано возымел подозрение, не признал ли он его по некоторым движениям; тем не менее, овладев выражением своего лица, он сказал: «Ты смеешься, вероятно, тому, что я, военный человек, а спрашиваю об этих женских вещах?» Амброджиоло сказал: «Мессере, я не над тем смеюсь, а над способом, каким я заполучил их». На это Сикурано сказал: «Ну-ка, с помощью Божьей, расскажи нам, как ты их достал, если это не непристойно». – «Мессере, – сказал Амброджиоло, – эти вещи и еще кое-что другое дала мне одна достойная дама из Генуи, по имени мадонна Джиневра, жена Бернабо Ломеллино, в ту ночь, когда я спал с нею, и просила меня беречь это из любви к ней. Я вот и рассмеялся, потому что поминаю глупость Бернабо, который был столь неразумен, что поставил пять тысяч золотых флоринов против тысячи в том, что я не склоню его жену к моим желаниям; я это сделал и выиграл заклад, а он, которому следовало бы скорее наказать самого себя за свою дурость, чем ее за то, что делают все женщины, вернувшись из Парижа в Геную, велел, как я потом слышал, убить ее».

Услышав это, Сикурано тотчас же понял, почему Бернабо разгневался на нее, и, ясно усмотрев, что этот человек – причина всех ее бедствий, решил сам с собою не пропустить ему этого безнаказанно. И так показав, что этот рассказ ему очень понравился, Сикурано хитро вошел с купцом в столь тесную дружбу, что, побуждаемый им, Амброджиоло по окончании ярмарки отправился с ним и со всем своим добром в Александрию, где Сикурано устроил ему лавку и дал ему много своих денег на руки; вследствие чего тот, увидев большую от того для себя пользу, проживал там охотно. Сикурано, желая скорее убедить Бернабо в своей невинности, не успокоился до тех пор, пока при посредстве некоторых знакомых генуэзских купцов, бывших в Александрии, под разными выдуманнами им предлогами, не вызвал его; так как тот был в бедственном положении, то он тайно распорядился, чтобы его приютил один из его приятелей, пока, по его мнению, не наступит время сделать то, что он затеял. Уже Сикурано побудил Амброджиоло рассказать свое приключение перед султаном и тем позабавить его; увидев, что Бернабо здесь, и рассчитав, что с делом мешкать нечего, он, улучив подходящее время, попросил султана вызвать к себе Амброджиоло и Бернабо и в присутствии последнего, если бы это не далось легко, то строгостью извлечь из Амброджиоло истину: как было дело с женой Бернабо, которым он похвастался. Когда вследствие этого Амброджиоло и Бернабо явились, султан в присутствии многих с строгим видом приказал Амброджиоло показать правду, как он выиграл у Бернабо пять тысяч флоринов золотом; тут был и Сикурано, на которого особенно надеялся Амброджиоло и который с еще более гневным лицом грозил ему тягчайшими наказаниями, если тот не покажет. Потому Амброджиоло, напуганный с той и другой стороны и к тому же несколько понуждаемый, в присутствии Бернабо и многих других, не иного большего ожидая наказания, кроме возвращения пяти тысяч флоринов золотом и вещей, откровенно рассказал все, как было дело. Когда Амброджиоло кончил, Сикурано, как бы во исполнение воли султана, обратившись затем к Бернабо, сказал: «А ты что сделал, из-за этого обмана, с твоей женой?» На это отвечал Бернабо: «Я, побежденный гневом вследствие потери моих денег и стыдом из-за оскорбления, которое я мнил нанесенным мне женою, велел моему слуге убить ее, и она, как он мне рассказал, была тотчас же пожрана стаей волков».

Когда все это было рассказано в присутствии султана и он все услышал и уразумел, но еще не знал, куда ведет дело Сикурано, все это устроивший и допрашивавший, Сикурано сказал ему: «Государь мой, вы видите ясно, насколько эта добрая женщина может похвалиться любовником и мужем, ибо любовник заодно лишает ее чести, запятнав ложными наветами ее

доброе имя, и разоряет ее мужа; а муж, более доверяя чужой лжи, чем правде, которую он мог испытать долгим опытом, велит убить ее на пищу волкам. Сверх всего таково расположение и любовь, которые любовник и муж к ней питают, что, хотя и долго с ней были, никто не признал ее. Но так как вы отлично поняли, что заслужил каждый из них, то, если вы по особой милости ко мне согласитесь наказать обманщика и простить обманутого, я представлю ее сюда перед лицо ваше».

Султан, готовый в этом деле снизить к желаниям Сикурано, сказал, что он согласен, пусть призовет даму. Сильно изумился Бернабо, твердо уверенный в ее смерти, а Амброджиоло, уже догадавшийся о своей беде и боявшийся большего, чем уплаты денег, не зная, на что более надеяться и чего страшиться от появления дамы, ожидал ее прибытия более с изумлением. Когда султан изъявил Сикурано свое согласие, он бросился перед ним на колени, мужской голос исчез одновременно с желанием не казаться более мужчиной, и он сказал: «Государь мой, я – бедная, злополучная Джиневра, шесть лет ходившая, блуждая, по свету под видом мужчины, ложно и преступно оскорбленная этим предателем Амброджиоло, отданная этим жестоким и несправедливым мужем на убиение от руки слуги и на паству волкам». И, разодрав спереди платье и показав грудь, она объявила себя и султану и всякому другому женщиной. Обратившись затем к Амброджиоло, она спросила его гневно, когда это было, что он спал с нею, как прежде хвастал. Тот уже признал ее и, почти онемев от стыда, ничего не сказал. Султан, всегда принимавший ее за мужчину, пришел в такое изумление, что несколько раз слышанное и виденное им казалось ему скорее сном, чем действительностью. Наконец, когда изумление прошло и он уверился в истине, он воздал большие похвалы образу жизни, постоянству нравов и добродетелям Джиневры, до того прозывавшейся Сикурано. Велев доставить ей приличное женское платье и женщин, которые, согласно ее просьбе, были бы в ее обществе, он простил Бернабо заслуженную им смерть. Тот, признав ее, бросился к ее ногам, плача и прося прощения, что она и сделала любовно, хотя он того и не заслужил, велела ему встать и нежно обняла его, как мужа. Затем султан приказал, чтобы Амброджиоло тотчас же привязали в каком-нибудь высоком месте города к колу и на солнце, вымазали его медом и не отвязывали до тех пор, пока он сам не упадет, что и было сделано. Затем он повелел, чтобы все, бывшее у Амброджиоло, отдано было даме, и этого было не так мало, чтобы не представить собою ценность более десяти тысяч дублонов. Велев устроить прекраснейшее торжество, он почтил им Бернабо, как мужа мадонны Джиневры, и мадонну Джиневру, как доблестнейшую женщину, и подарил ей в драгоценных вещах, золотых и серебряных сосудах и деньгах столько, что то составило более другого десятка тысяч дублонов. Приказав снарядить судно, он, по окончании торжества, разрешил им вернуться в Геную по желанию; возвратившись туда богатейшими людьми и в большом веселии, они приняты были с большими почестями, особенно мадонна Джиневра, которую все считали умершей, и всегда, пока она жила, почитали как женщину большой добродетели и ума. А Амброджиоло в тот день, как был привязан к колу и вымазан медом, к великому своему мучению, был не только умерщвлен, но и съеден до костей мухами, осами и слепнями, которыми очень изобилует та страна; побелевшие кости, держась на жилах, долгое время не тронутые, свидетельствовали всякому, их видевшему, об его злодействе. Так обманщик и попал под ноги к обманутому.

Новелла десятая

Паганино из Монако похищает жену мессера Риччярдод да Кинзика, который, узнав, где она, отправляется за ней и, войдя в дружбу с Паганино, просит отдать ее ему. Тот соглашается, если на то ее воля; но она не желает вернуться и, по смерти мессера Риччярдод, становится женой Паганино

Все почтенное общество очень одобрило прекрасную новеллу, рассказанную их королевой, особенно Дионео, которому одному оставалось рассказывать сегодня. Много похвалив рассказчицу, он сказал: – Прекрасные дамы, одно место в новелле королевы побудило меня изменить намерению – рассказать нечто, что у меня было на уме, для того, чтобы сообщить вам другое: а именно неразумие Бернабо (хотя и благополучно для него кончившееся) и всех других, верящих в то, во что и он, оказывалось, верил, то есть воображающих, что, когда они, бродя по свету, забавляются то с той, то с этой, раз и другой, их жены, оставшись дома, сидят, заложив руки за пояс, точно мы, рождающиеся и вырастающие среди них, не знаем, на что они падки. Рассказывая вам эту повесть, я заодно покажу, какова глупость подобных людей и насколько больше глупость тех, которые, считая себя сильнее природы, уверяют себя невероятными рассказами, что в состоянии сделать больше, чем могут, стараясь и других себе уподобить, хотя бы те, по природе, и не были к тому способны.

Итак, жил-был в Пизе судья, более одаренный умом, чем телесной силой, имя которому было Риччярдод да Кинзика; полагая, что жена его удовольствуется той же деятельностью, какой хватало для его занятий, и будучи очень богат, он с немалой заботой искал себе в жены красивую и молодую девушку, тогда как ему следовало бы, если бы он мог посоветовать себе так, как то делал другим, избегать того и другого. Это ему и удалось, ибо мессер Лотто Гвалланди отдал за него дочь, по имени Бартоломео, одну из самых красивых и привлекательных девушек Пизы, хотя там не мало таких вертких, как ящерицы. Введя ее с большим торжеством в свой дом и сыграв прекрасную и великолепную свадьбу, он успел-таки в первую ночь, ради совершения брака, тронуть ее, хотя не многого недостало, чтобы и в этот один раз он не остался с матом; почему на другое утро ему, как человеку худому и поджарому и не бодрому, пришлось возвращать себя к жизни красным вином, крепительными снадобьями и другими средствами. И вот господин судья, став лучшим ценителем своих сил, чем был ранее, принялся обучать жену календарю, годному для ребят, учащихся грамоте, и, вероятно, когда-то сочиненному в Равенне. Ибо, судя по тому, что он доказывал ей, не было дня, на который не падал бы не только праздник, но и несколько, в уважение которых муж и жена обязаны по разным причинам воздерживаться от подобных отношений; к этому он присоединял посты, малые и великие, навечерия святых апостолов и тысячи других святых, пятницы и субботы, День Господень и весь Великий Пост, известные фазы луны и много других исключений, полагая, быть может, что с женщинами в постели подобает соблюдать такие же фери, какие он позволял себе порой, ведя гражданские дела. Такого способа действия он (не без глубокого огорчения жены, которой перепало, быть может, раз в месяц, да и то едва) долгое время держался, все время тщательно ее оберегая, как бы кто-нибудь другой не научил ее распознавать рабочие дни, как он научил ее праздничным.

Случилось в жаркую пору, что у мессера Риччярдод явилось желание поехать развлечься в одно свое прекрасное поместье, вблизи Монте Неро и здесь, ради воздуха, остаться несколько дней: с собой он взял свою красавицу жену. Пребывая здесь, он, дабы доставить ей какое-нибудь развлечение, устроил однажды рыбную ловлю, и они на двух лодках отправились посмотреть на нее, он с рыбаками на одной, на другой жена с другими женщинами; удовольствие увлекло их, и, почти не замечая того, они на несколько миль вышли в море. Пока все их

внимание было обращено на это, явилась внезапно галера Паганино да Маре, очень известного в то время корсара; увидев лодки, он направился к ним; им нельзя было уйти так быстро, чтобы Паганино не удалось настичь ту из них, где были женщины; увидев в ней красавицу, он, не желая ничего другого, в виду Риччьярдо, уже находившегося на берегу, взял ее к себе на галеру и удалился. Когда увидел это господин судья, настолько ревнивый, что боялся даже воздуха, нечего и спрашивать, как он огорчился. Без всякого толку жаловался он и в Пизе и в других местах на злодейство корсаров, не зная, кто похитил у него жену и куда ее увез. Паганино же, увидев красавицу, был доволен, и так как у него жены не было, он решил постоянно держать ее при себе и принялся нежно утешать ее, сильно плакавшую. Когда настала ночь, он, обронив из-за пояса календарь и утратив память о всяких праздниках и фERIAх, начал утешать ее делами, ибо, казалось ему, днем слова помогли мало: и он так ее утешил, что прежде чем они прибыли в Монако, судья и законы вышли у ней из ума, и она стала вести с Паганино самую веселую жизнь в свете. Привезя ее в Монако, он сверх утешений, которые доставлял ей днем и ночью, содержал ее почетно, как свою жену. По некотором времени, когда до сведения мессера Риччьярдо дошло, где находится его жена, он, полагая, что никто не сумеет вполне сделать все для того потребное, движимый страстным желанием, решился сам пойти за ней, готовый дать за ее выкуп какое угодно количество денег. Выйдя в море, он поехал в Монако, где ее увидел, а она его; затем вечером она рассказала о том Паганино и объявила ему о своем намерении. На другое утро мессер Риччьярдо увидел Паганино, познакомился с ним и в короткое время вошел с ним в большую приязнь и дружбу, а тот притворился, будто его не знает, выжидая, куда он поведет дело. Поэтому, когда мессеру Риччьярдо показалось, что настала пора, он как сумел лучше и дружелюбнее открыл ему причину своего прибытия, прося его взять, что угодно, но отдать ему жену. На это Паганино с веселым видом отвечал: «Мессере, добро пожаловать! Отвечая вам вкратце, скажу: правда, у меня живет молодая женщина, не знаю – ваша ли жена, или кого другого, ибо вас я не знаю, да и ее лишь настолько, насколько она некоторое время жила со мною. Если вы ей муж, как вы говорите, я сведу вас к ней, так как вы кажетесь мне любезным и почтенным человеком, и я уверен, что она признает вас; если она скажет, что все так, как вы говорите, и захочет пойти с вами, я готов, ради вашей любезности, чтобы вы дали мне в выкуп за нее то, что сами пожелаете; если бы дело было не так, то вы поступили бы дурно, если бы пожелали отнять ее у меня, ибо я человек молодой и могу, как любой иной, иметь женщину, особенно же такую, прелестнее которой я еще не видывал». Сказал тогда мессер Риччьярдо: «Что она мне жена, это верно, и коли ты сведешь меня к ней, ты это увидишь: она тотчас же бросится ко мне на шею; поэтому я прошу, чтобы сделано было не иначе как ты сам сказал». – «Итак, идем», – сказал Паганино. Таким образом, они отправились в дом Паганино; войдя в одну залу, Паганино велел позвать ее, и она, одетая и убранная, вышла из одного покоя в тот, где находились мессер Риччьярдо и Паганино, но к мессеру Риччьярдо обратилась не иначе как то сделала бы с другим чужим человеком, который явился бы к ней в дом вместе с Паганино. Как увидел то судья, ожидавший, что она встретит его с величайшей радостью, сильно удивился и начал размышлять сам с собою: «Может быть, печаль и долгая скорбь, испытанные мною после того, как я потерял ее, так изменили меня, что она меня не признает». Потому он сказал ей: «Дорого же мне стало, жена, что я повез тебя на рыбную ловлю, ибо никто не ощущал печали, подобной той, которую испытал я, потеряв тебя, а ты, кажется, и не узнаешь меня, так чужо говоришь ты со мною. Разве ты не видишь, я твой мессер Риччьярдо, прибывший сюда, чтобы оплатить, что пожелает этот достойный человек, в доме которого мы находимся, дабы снова добыть и увезти тебя? А он, по своей милости, отдает тебя за то, что я пожелаю уплатить». Обратившись к нему, дама сказала, слегка улыбаясь: «Мессере, вы это мне говорите? Смотрите, не приняли ли вы меня за другую, ибо, что касается до меня, я не помню, чтобы видела вас когда-либо». Сказал мессер Риччьярдо: «Подумай, что ты говоришь, посмотри на меня хорошенько: коли захочешь порядком припомнить – увидишь, что я в самом

деле твой Риччъярдо да Кинзика». Дама сказала: «Мессере, извините меня, может быть, мне и не так прилично, как вы полагаете, долго смотреть на вас, тем не менее я на вас достаточно насмотрелась, чтобы убедиться, что никогда вас доселе не видела». Мессеру Риччъярдо вообразилось, что делает она это из страха перед Паганино, не желая в его присутствии признаться, что знает его; поэтому, по некотором времени, он попросил Паганино позволить ему наедине поговорить с нею в комнате. Паганино согласился, с тем только, чтобы он не целовал ее против ее желания, а даме приказал пойти с ним в комнату, пусть выслушает, что он желает ей сказать, и ответит, как ей будет угодно. Так дама и мессер Риччъярдо одни отправились в комнату, и когда уселись, мессер Риччъярдо начал говорить: «Сердце ты мое, душенька ты моя, надежда моя, неужели не узнаешь ты своего Риччъярдо, который любит тебя более себя самого? Как это возможно? Разве я так изменился? Посмотри ты на меня немножко, глазок ты мой милый!» Жена принялась смеяться и, не дав ему говорить далее, сказала: «Вы хорошо понимаете, что я не настолько забывчива, чтобы не признать, что вы мессер Риччъярдо да Кинзика, муж мой; но вы, пока я была с вами, показали, что очень дурно меня знаете, ибо если бы вы были, или еще оказываетесь, мудрым, за какового вы желаете, чтобы вас принимали, у вас было бы настолько разумения, чтобы видеть, что я молода, свежа и здорова, а следовательно, должны были бы понимать, что потребно молодым женщинам, помимо одежды и пищи, хотя они, по стыдливости, о том и не говорят. Как вы это делали – вы знаете сами. Если занятия законами были вам приятнее занятий с женою, вам не надо было брать ее; хотя мне никогда не казалось, что вы судья, а представлялись вы мне скорее глашатаем святых действий и праздников, так отлично вы их знали, равно как посты и навечерия. И я говорю вам, что если бы вы дали столько праздничных дней работникам, что работают в ваших поместьях, сколько давали тому, кто обязан был обрабатывать мое маленькое поле, вы никогда не собрали бы ни зерна жита. На этого человека я напала, так хотел Господь, милостиво воззревший на мою молодость; с ним я живу в этой комнате, где не знают, что такое праздник (я говорю о праздниках, которые вы, более преданный Богу, чем служению женщинам, соблюдали в таком количестве), и никогда в эту дверь не входили ни субботы, ни пятницы, ни навечерия, ни четыре поста, ни Великий Пост, столь продолжительный; напротив, здесь днем и ночью работают, теребя шерсть; я знаю, как пошло дело с одного раза и далее, с тех пор как ночью ударили к заутрене. Потому с этим человеком я желаю остаться и работать, пока молода, а праздники, индальгенции и посты предоставлю себе отбывать, когда буду стара; а вы уходите с Богом, как можно скорее, и празднуйте без меня сколько угодно». Слушая эти слова, мессер Риччъярдо испытывал невыносимую скорбь и, когда заметил, что она умолкла, сказал: «Увы, душа моя, что это за речи ты говоришь? Разве тебе нет дела до чести твоих родителей и твоей? Предпочитаешь ли ты оставаться здесь любовницей этого человека, пребывая в смертном грехе, чем быть в Пизе моей женой? Этот, когда ты ему надоешь, прогонит тебя к великому твоему позору, там же ты всегда будешь мне мила и всегда останешься, хотя бы я и умер, хозяйкой моего дома. Захочешь ли ты из-за этого необузданного и нечестного вожделения забыть свою честь и меня, любящего тебя более своей жизни? Надежда ты моя, не говори того более, согласишься пойти со мною; я отныне и впредь, зная твое желание, буду стараться; поэтому, дорогая моя, измени свое намерение и пойди со мною, ибо я никогда не чувствовал себя хорошо с тех пор, как тебя у меня отняли». На это она ответила ему: «О моей чести пусть никто не заботится (да теперь и нечего) более меня самой; пусть бы заботились о ней мои родители, когда отдавали меня за вас; если они не позаботились тогда о моей чести, я не намерена ныне сделать того относительно их; коли я теперь обретаюсь в смертном грехе, то когда-нибудь попаду в живую переделку; вам нечего ради этого тревожиться из-за меня. Скажу вам еще вот что: здесь мне представляется, что я жена Паганино, а в Пизе казалось, что я ваша любовница, как припомню, что мои и ваши планеты сходились лишь по фазам луны и геометрическим расчетам, тогда как здесь Паганино всю ночь держит меня в своих объятиях, давит и кусает меня, а как обрабатывает. Еще вы говорите, что

будете стараться. Чем? Постараетесь в три приема поднять палицу?? Я ведь знаю, что вы стали хорошим наездником с тех пор, как я вас не видела! Ступайте и постарайтесь жить, ибо мне кажется, что в этом мире вы живете как жилец по искусу, таким чахленьким и хиленьким вы мне кажетесь. И еще скажу вам, что, когда этот человек оставит меня (а, кажется, он к этому не расположен, лишь бы я пожелала остаться), я не намерена вследствие того возвратиться когда бы то ни было к вам, из которого, если бы вас всего выжать, не вышло бы и чашки соку: ибо, уже однажды побывав там к великому моему вреду и урону, я поищу себе пищи в другом месте. Потому снова говорю вам, что здесь нет ни праздника, ни предпразднования, оттого я и намерена здесь остаться, а вы, как можно скорее, уходите с Богом, не то я закричу, что вы хотите сделать мне насилие». Мессер Риччярдо, видя, что его дело плохо, и лишь теперь познав, что он, малосильный, сделал глупость, взяв за себя молодую жену, вышел из комнаты опечаленный и горестный и многое наговорил Паганино, что не повело ни к чему; наконец, ничего не сделав и оставив жену, вернулся в Пизу и с горя впал в такое юродство, что, когда ходил по городу, всякому, кто ему кланялся либо о чем его спрашивал, ничего иного не отвечал, как только: «Дрянная дыра не хочет знать о праздниках». Вскоре после того он умер. Когда услышал о том Паганино, зная любовь, какую питала к нему дама, сделал ее своей законной супругой, и оба, не соблюдая никогда ни праздника, ни предпразднования и не держа поста, работали, насколько могли вынести ноги, и вели веселую жизнь. Вот поэтому, дорогие мои дамы, мне и кажется, что в споре с Амброджиоло Бернабо ехал верхом на козе – к скату.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.